

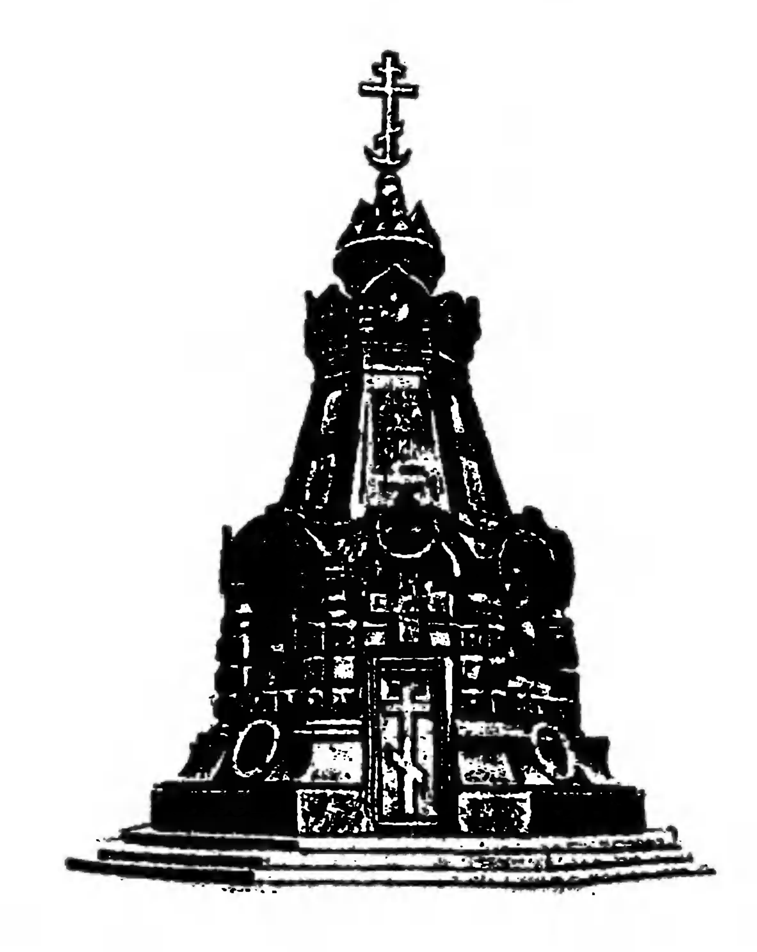
ISSN 0131-6044
РОМАН-ГАЗЕТА 15
(1213)·1993
Леонид Бородин
БОЖЕПОЛЬЕ




## ПАМЯТНИК РУССКИМ ГРЕНАДЕРАМ

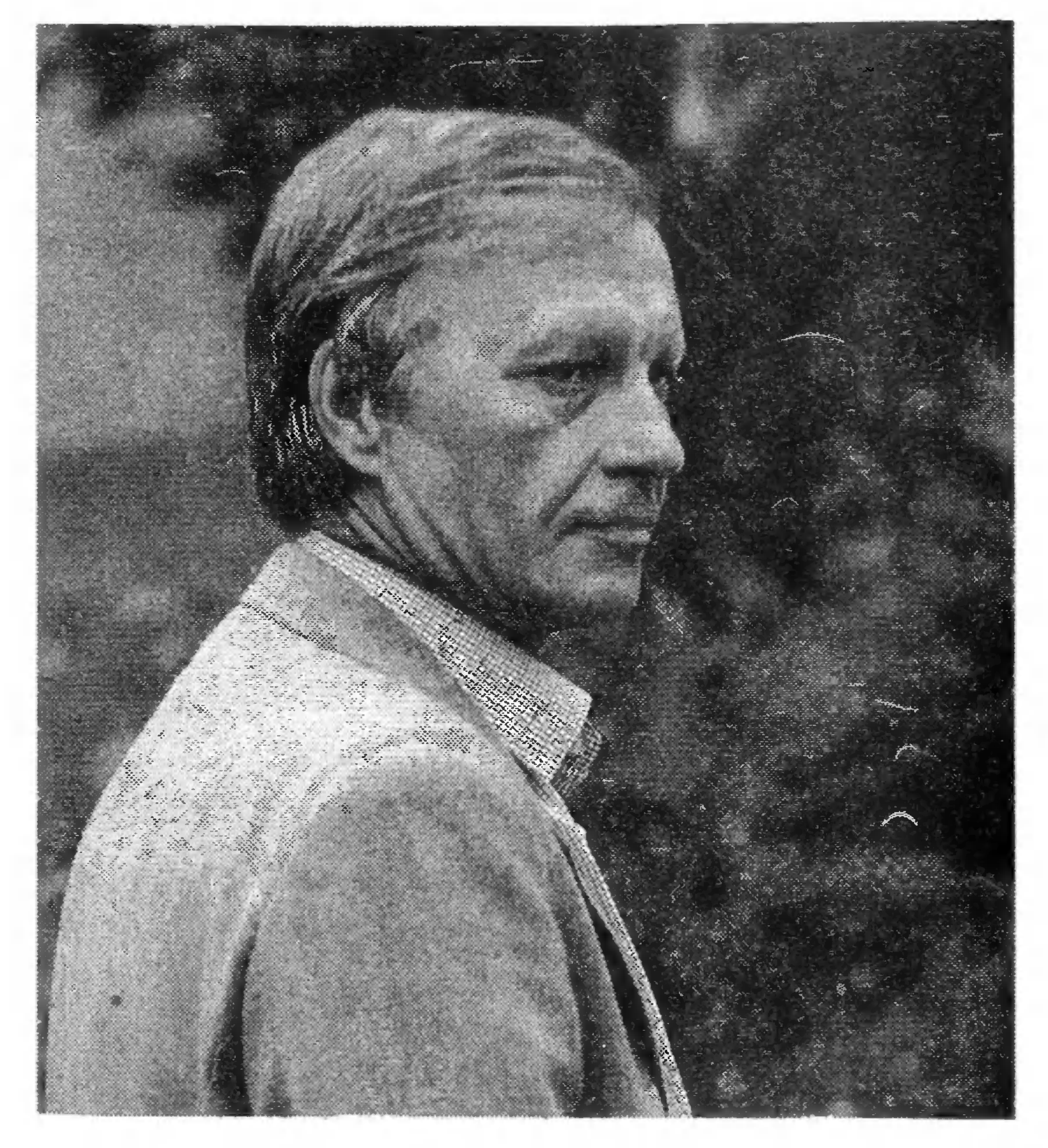
В Москве у Ильинских ворот, что напротив Политехнического музея со стороны Старой площади, находится мало приметный, почерневший от времени памятник. Надпись на нем еле просматривается, и потому многие прохожие спрашивают: кому и в честь какого события он сооружен в нашей столице?

Город Плевна (ныне Плевен) расположен на севере Болгарии и имеет такую же громкую ратную славу, как, скажем, Полтава, Бородино, Севастополь... Во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг. за Плевну шли ожесточенные бои с июля по конец ноября 1877 г. Три штурма русских войск были неудачны, после чего Плевна была осаждена. Осадными работами руководил известный русский инженер-фортификатор генерал граф Тотлебен — герой обороны Севастополя (1854—1855 гг.). В ночь на 28 ноября (10 декабря) турецкий гарнизон Плевны, оказавшись в условиях полной блокады и непрерывной артиллерийской бомбардировки, предпринял отчаянную попытку прорыва сквозь плотное кольцо русских войск. Но стойкость, ратное мастерство и героизм наших гренадеров сорвали замыслы турецкого командующего Осман-паши. Потеряв много тысяч убитыми и ранеными, войска противника вынуждены были отступить и сложить оружие. В плен были взяты более 40 тысяч солдат и офицеров и большое количество разного вооружения. Победа под Плевной 28 ноября (10 декабря) стала поворотным пунктом в русско-турецкой войне. Большую помощь русским и румынским войскам, принимавшим участие в этой операции, оказывало население Болгарии. В память о замечательной военной победе и героических действиях русских войск под командованием генерала М. Д. Скобелева и был открыт в Москве царским правительством этот памятник в день десятилетия освобождения г. Плевны, 28 ноября 1887 года.



Отмечено это военное событие и в Болгарии. На месте исторических сражений создан скобелевский мемориальный комплекс и музей «Освобождения Плевны в 1877 г.». Открыта специальная панорама. У входа в Скобелевский парк воздвигнут Монумент свободы, на котором ярко горят две даты: «1878» и «1944». Это — дань признательности болгар дважды освободителям.

*Семен Борзунов*



**Леонид Иванович БОРОДИН** родился в 1938 году в Иркутске в семье сельского учителя второго поколения. Детство прошло на Байкале. После окончания средней школы учился в спецшколе МВД, где в 1956 году встретил события, последовавшие за XX съездом партии. Ушел из училища, вернулся в Иркутск и поступил в университет, откуда в 1957 году был исключен за политическое фрондерство. Братск, Норильск, Улан-Удэ...

В 1962 году заочно окончил Улан-Удэнский пединститут. Работал в сельских школах Сибири, затем Ленинградской области.

В 1965 году вступил в подпольную политическую организацию, за участие в которой в 1967 году был осужден на шесть лет заключения. Там, в заключении, были написаны первые повести и рассказы.

С 1978 года начал публиковаться в издательстве «Посев» — «Третья правда», «Год чуда и печали», «Повесть странного времени», «Расставание». В 1982 году за антисоветскую деятельность осужден на пятнадцать лет заключения. В 1987 году досрочно освобожден.

В 1989 году — лауреат итальянской международной премии «Гринзане кавур». Еще ранее, в 1983 — премии французского ПЭН-клуба «Свобода».

В России печатался во многих литературных журналах. В издательстве «Современник» вышла книга «Повесть странного времени», в Иркутском издательстве — «Год чуда и печали».

В 1992 г. присуждена премия Москвы. В 1993 г.— премия «Роман-газеты» за повесть «Третья правда» («Роман-газета» 1991 г., № 4). С 1992 г.— главный редактор журнала «Москва».




НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
МОСКВА
(1213)·1993
Основана в 1927 г

# Леонид Бородин

# БОЖЕПОЛЬЕ

*ПОВЕСТЬ*

**1**

Никак не удавалось собраться с мыслями. То ли их было слишком много, а это значит, все, кроме нужной, то ли была утрачена способность контроля... временно, конечно, и тогда следовало бы отдаться им, суетным, противоречивым, тревожным думам-мыслишкам, бродить среди них внутренним взором, присматриваясь и прислушиваясь, но ни в коем случае не вовлекаясь сознанием и напряжением в их пустоголосицу.

Зато наступило уже почти забытое ощущение здоровья, полного здоровья, то есть нигде ничего не болело, так, как будто все выздоровело, и, понимая нелепость такого ощущения, Павел Дмитриевич, тем не менее, радовался своему новому состоянию с необоснованными надеждами на некий очередной этап жизни, и впервые за последнее время не присутствовал в его мыслях образ тупика, стенки, предела, к которому скатывалась его жизнь по фатальному закону времени.

В семьдесят четыре года грезить новым этапом жизни — кто может позволить себе такое! Но воздержаться от жестокого анализа обманного ощущения — почему бы нет? Почему бы не подыграть, почему бы не воспользоваться добрым самочувствием в планировании дня, недели, а то и месяца, а ведь это уже почти этап,— где месяц, там и два, да и разве невозможно — временное выздоровление, положим, под воздействием общего психического состояния, ведь все от нервов или, по крайней мере, многое...

Собраться с мыслями — это значит из полифонии желаний и намерений выбрать и волевым усилием предпочесть те из них, которые воспринимаются как долг, как обязанность перед самим собой и перед теми, кому его жизнь еще нужна как неотделимая часть некой общей судьбы. И это единственно верное понимание своей жизни как части чего-то общего, общезначимого.

Те, кто нынче болтает о «винтиках»,— глупы! Несчастны! Это же прекрасно, когда делаешь мелкие повседневные дела, но сознанием пребываешь в результате того общего дела, ради которого сам и все тебе подобные отдают себя по частичкам, чтобы, как мозаичное полотно, получить в итоге овеществленное намерение.

Увы! Однажды оказывается, что одних благих желаний и посвящений недостаточно для достижения желаемого, что желаемое зачастую вообще неосуществимо, но все равно, жить стоит только так — с верой, поскольку не существует научного построения жизни, а жизнь — это всегда лишь итог степени напряжения в реализации желания.

Напряжение было недостаточным, оно было не всеобщим, многие только притворялись верящими, сегодня это вскрылось с очевидностью, и вот результат! Хаос захлестывает государство.

На этих мыслях Павел Дмитриевич всегда останавливался в своих думах. Это было волевое действие. Воли, слава Богу, ему не занимать. Но за последний месяц уже выработался порочный круг его дум. Как только он говорил себе «стоп!» (это при мысли о государстве), так в то же мгновение возникало перед глазами метро...

Месяц назад или около того он впервые за много-много лет спустился в метро. Один! Категорически запретил дочери сопровождать его. И потрясение, которое он пережил, до сих пор не преодолено, не переварено и постоянно порождает видения пережитого.

Сколько раз за свою жизнь он из машины взглядом охватывал эту картинку городского быта: арочный вход и втекающие и вытекающие толпы и потоки людей, о которых в целом он думал по-отечески заботливо и требовательно. Проносясь по касательной, он всегда спешил к своему рабочему месте и с удовлетворением фиксировал для себя самую непосредственную причастность своей жизни, своей работы, своего дела к судьбам этих людских потоков, не подозревающих о величине его забот, о сложности и трудности его дела. Приятно было сознавать, что все берет на себя, что не посвящает толпы в свои хлопоты, потому что они заслужили, они достойны не знать его личной тревоги, они должны... нет, не то слово,— они могут спокойно верить, что он, проносящийся мимо и не навязывающийся им в их знание,— он справится со всеми сложностями отведенных ему проблем, как и они, массы, справляются со своими трудностями и проблемами.

Потоки людей уходили под землю и выходили, и он, схватывающий все это одним взглядом, воспринимал виденное как саму жизнь, неостановимую и изначально верную по самой сути непрекращающегося движения. В этом был смысл.

Но вот он сам впервые за многие десятилетия, лично, один и самостоятельно вышедший на улицу, на улице еще чувствовал себя тем, кто он есть, хотя и был встревожен разностью ритмов движения — своего и остальных, но стоило ему приблизиться к знакомому арочному входу, как случилось нечто ошеломляющее: его схватили и понесли вправо, прямо, вниз, его затолкнули в вагон и вытолкнули оттуда, и самое страшное — его никто не видел, он видел всех, а его не видели, об него спотыкались и запинались, как о вещь, ему казалось, что в этой человеческой каше он становится или стал ничем, никем, что он меньше всех, потому что все были как бы заодно не против него, а без него...

Как он потом добрался до своего дома, до своей квартиры, до своего кресла,— ему думалось, что сработал инстинкт выживания, потому что он был в опасности, которую никаким словом определить не мог, но достоверно знал, что опасность была, и после того несколько дней подсматривал в щель между шторами за толпой, что на дальнем конце площади все так же втекала в арочное отверстие и вытекала из него как ни в чем не бывало,— это было не то чтобы оскорбительно, это было уничтожающе по отношению к его привычке видеть и понимать себя и жизнь в том взаимном соответствии, какое установилось однажды и было справедливым и логичным.

При всем том, будучи от природы человеком самоконтроля, каким-то вторым сознанием он одергивал себя всякий раз, когда социальная мистика стучалась в душу, и говорил себе: «Чушь все это!» Такое проговаривание было слышимым душой и, в конце концов, определяющим, в любой момент он мог переключиться на реальную жизнь и словами и поступками убедительно свидетельствовать, что пребывает, дай Бог каждому, в здравом уме и работающей памяти.

Кстати, о памяти. Предполагал, что приговорен к диалогам с самим собой на предмет прошлого, оно ведь было пестрым. Ничего подобного не случилось. Он по-прежнему жил в сегодняшнем дне и вовсе не чувствовал себя исключенным из жизни, скорее напротив, свобода от повседневной ответственности обострила его восприятие происходящего вокруг, и Павел Дмитриевич уже не раз с удовлетворением констатировал, что мысли или соображения его о том или ином событии, факте, буде они высказаны в соответствующем месте, прозвучали бы озадачивающе для тех, кто знал его много лет и привык к его методике мышления. Обладая, однако же, аналитическим умом, он не заблуждался относительно остроты его нынешнего политического сознания. Оно обусловлено тем, что он ушел вовремя.

Иногда он даже испытывал нечто среднее между восторгом и гордостью, когда думал об исключительной своевременности своего ухода. Месяцем позже или месяцем раньше — все было бы не так, отсчет шел на дни, хотя, конечно, не он вел этот отсчет, а сумма всех обстоятельств предопределила решение, но тем и значительнее эта его, возможно, последняя удача в жизни, что состоялась она по судьбе как некое подведение черты с восклицательными знаками на полях.

Фраза Смирновского, услышанная им или подслушанная, оказалась, в сущности, подарком судьбы, хотя тогда, в ту минуту, она прозвучала выстрелом в спину, или из-за угла, или из-за стога сена... Выстрел из-за стога сена более полувека назад тоже в известной степени был решающим в его судьбе. Любопытно, что оба эти выстрела он воспринял почти одинаково, то есть по первичной реакции был буквально захлестнут злобой... Это же нормальная реакция нормального человека — хвататься за револьвер, когда тебе стреляют в спину, или из-за угла, или из-за стога сена! Но неисповедимы пути... Вспоминая случившееся месяц назад, Павел Дмитриевич нынче способен самодовольно хмыкнуть и подумать о Смирновском как о мальчишке-болтуне, чье недержание сослужило ему неоценимую службу.

— Как там наш Дормидонт Бронтозаврович?

И смешок пакостливый.

Вот, собственно, и вся фраза. Подлинное имя отца Павла Дмитриевича так вот и звучало — Дормидонт! Он, соответственно, был Дормидонтович. Можно ли жить в революционное время с таким отчеством? Он изменил его полвека назад. Откуда Смирновский, этот прихвостень нового Первого, мог знать такую деталь биографии старого цекиста? Несложно догадаться откуда. Из личного дела, на какой-то предмет поднятого и перелистанного с вниманием, объяснимым только заданностью действия. Все остальное вычислилось элементарно. Павел Дмитриевич не стал ждать событий, но упредил их шагом, который озадачил как сторонников, так и противников. Он ушел, не получив ни одного намека на несоответствие, и это был самый дерзкий, самый решительный поступок в его жизни,— так он сам оценивал и в этой оценке утверждался все более и более по мере того, как закручивалась карусель власти.

Далее началось презабавнейшее. Ему стали названивать и справляться о самочувствии. В прежние времена каждый такой звонок, тем более человека непрямого контакта, был бы головоломкой, которую требовалось решать незамедлительно, дабы не проморгать возможного изменения в раскладке.

Ныне он, из расклада выпавший, сперва потешался объявившимся интересом к его самочувствию, но после того, как позвонил тот же самый Смирновский, который даже некролога ему не подписал бы, когда услышал его голос, голос человека, поимевшего минуту-другую, чтобы звякнуть так просто, из человеческих побуждений,— Павел Дмитриевич даже не узнал его, так непривычны были человеческие нотки для этой машины-интриганки,— вот тогда он задумался всерьез и даже было встревожился, но еще звонок, и другой, и он начал поигрывать, отвечая какими-то особыми фразами, которые находились всякий раз соответственно абоненту.

Однако вместе со всеми этими ощущениями, чувствами и переживаниями совсем рядом с ними вызревало и нечто новое, к чему Павел Дмитриевич пока лишь настороженно прислушивался, анализируя свое состояние. В редкие минуты исключительной самоуглубленности он уже бывал готов обозначить это новое каким-то словом, понятием, но в самую решающую минуту откладывал готовность до следующего раза, когда, как ему казалось, он

с большей пользой для себя сможет определиться относительно всей новизны его теперешнего бытия, и выводы, кои последуют из такого определения, непременно продиктуют ему единственно верную позицию по отношению ко всему происходящему вокруг него, а позиция эта, без сомнения, будет активной.

Иначе и не мыслилось. Свой демонстративный уход Павел Дмитриевич рассматривал как действие, как поступок с последствиями и ждал... Чего?

Вот на этом вопросе всякий раз и не удавалось собраться с мыслями, тогда-то и возникало, как некая компенсация, ощущение полного физического здоровья и чуть ли не омоложения, он весь внутренне выпрямлялся, окидывая взглядом государство, коему служил всю свою жизнь, сокрушительно качал головой, пребывая при этом абсолютно неподвижным и даже с закрытыми глазами, вслух же произносил лишь одно слово: «Хаос!» — и тут же вспоминалось метро, бессмысленный человеческий поток, несущий его, измятого и расплющенного, в ревущее чрево подземелий...

Вглядываясь в происходящее вокруг него, а точнее, не вокруг, а как бы за спиной, вглядываясь теперь только через газеты и телевидение, Павел Дмитриевич с некоторым изумлением отмечал, что оно, это происходящее вокруг, ему исключительно противно, как противен, к примеру, всегда бывал недожаренный картофель, или пересоленный суп, или автомобиль с плохими амортизаторами, или сквозняк, или неопрятно одетый человек... Последнее — точнее. Страна в неуловимо короткий срок превратилась в неприбранную квартиру. Он не произносил слово «бардак», даже в мыслях не произносил, это слово ему казалось банальным, но никак не мог подобрать синоним и лишь продолжал удивляться, какие противные лица стали у его сограждан, особенно у тех из них, кто пришел на его место, на все те места, которые он и не занимал, потому что у него было свое место, одно,— но все прочие, равные — они тоже были его местами хотя бы потому, что он мог занимать любое из них, а на некоторых и побывал хозяином или исполнителем, то есть работником. Теперь же, вслушиваясь со стороны в названия номенклатурных точек, сжимался внутренне, когда почти родное словосочетание склонялось в каких-то немыслимых падежах, и какие-то противные, наглые, неопрятные люди говорили глупости, разумеется, глупости, и, охмелевшие от собственной глупости, становились еще невыносимее противными. И эти бородатые! Были б юнцы! Но ведь нет же! В почтенных возрастах! Когда едят, небось вся борода в капусте...

Но это уже ассоциации,— бородатое кулачье деревенское, где под каждой бородой обрез или хотя бы только ненависть к нему, активисту новой власти... Они тоже были противные, эти бородатые кулаки и подкулачники... У Ленина, положим, борода, и у Луначарского, но это же совсем другое дело, то — элемент старой культуры, а сегодняшние, они же не под Ленина, они под мужика рядятся, под кулака, и демонстративно лезут в объективы всей своей косматостью.

Мелочи, конечно. И Павел Дмитриевич понимал, что не в бородах дело, но отвращения преодолеть не мог, да и не хотел, он догадывался, что в нем срабатывает чутье на чужое, возможно, даже на враждебное, он привык доверять чутью, он даже слегка гордился такой своей способностью исключительно по второстепенному признаку и при полном отсутствии информации чувствовать чужого и тогда, когда тот и сам о себе еще не все знал. Это чутье не один раз сослужило ему добрую и своевременную службу, не раз человек, от которого он загодя избавился, оказывался чужим, врагом или просто опасным.

Вообще Павла Дмитриевича слегка удивляло, что его отталкивание от происходящего в стране строится не на политической основе (политические оценки и анализы еще предстояло сформулировать), а скорее, на эстетической, и приходила на ум установка, что верное и полезное — красиво, некрасиво же либо свидетельство несовершенства, либо ошибка...

И еще одно новое чувство беспокоило и настораживало Павла Дмитриевича. Квартира была та же, вид из окна тот же, не стало только службы и факта движения туда, на службу, и обратно. Город был тот же и страна та же... и народ... а казалось, что отшвырнут он по другую сторону баррикады, заброшен туда беззащитным и беспомощным, и откуда-то из подсознания вылуплялись странные и смешные конспиративные инстинкты: оглядывание в подъезде, например, или осторожное выглядывание из-за штор окна. Иногда он вдруг замирал и прислушивался к чему-то происходящему за стенами его квартиры, а ничего не услышав, не успокаивался и спасался от непонятной внутренней тревоги каким-нибудь конкретным квартирным делом, хотя бы перевешиванием картин.

А все случающееся там, откуда он выпал, виделось Павлу Дмитриевичу тоже будто напротив него, словно с вражеской территории из бинокля, притаившись и затаившись, рассматривал он свою подлинную и единственную родину, с которой оказался разделенным нелепым парадоксом, прихотью социального процесса.

И в этот день, первый день лета, Павел Дмитриевич, как обычно, то есть по уже сложившейся привычке, с утра, пролистав вчерашние газеты после завтрака, занял исходную позицию у окна, что выходило на площадь, и стоял так ровно столько, сколько уже привык стоять по утрам в одной и той же позе: сбоку, слева, левой рукой придерживая штору, как занавес... Такое сравнение он открыл сам, и оно ему понравилось, потому что, если сказать себе, что жизнь есть театр, то нынче происходящее могло представиться, к примеру, таким образом — зрители ополоумели и стали сами разыгрывать спектакли, не догадываясь даже о том, что и они тому не обучены, и зрительный зал не приспособлен, и главное — если все исполнители, то нет зрителей, а следовательно, нет и действия как такового, то есть балаган... А сам он, Павел Дмитриевич, по логике избранного сравнения — профессионал, не без тревоги, но спокойно наблюдающий из-за кулис дилетантские гримасы и реплики сдуревшей толпы, толпы образовавшейся, ибо превращается в толпу общество всякий раз, когда срывается или изнашивается социальная пружина, общество организующая...

И такой ход мыслей не этим пасмурным утром был открыт, но многое уже повторялось в мыслях, а к повторениям привыкать опасно, Павел Дмитриевич это понимал и, возможно, именно в честь первого летнего дня (хотя какая уж тут честь!) намеревался сегодня заняться тем, чем давно уже решил отвлечься от суматохи дум. Архивы! Свои личные архивы. Двадцать восемь аккуратных толстых папок на трех верхних полках застекленного и механизированного стеллажа — святая святых, куда никто в его семье не имел доступа, по крайней мере в его нынешней семье. Первая жена, Надежда,— это она оформила и подобрала первые шесть папок... После он делал это исключительно сам, но в методику подбора ничего своего не внес, и не потому, что не сумел, просто не было необходимости. Надежда предусмотрела всю его жизнь. Со своей у нее получилось хуже.

Люба, его вторая жена, была уже не подругой жизни, а спутницей, то есть только женой. Она появилась, когда папок уже было восемнадцать, и они менее всего могли ее интересовать, а Павла Дмитриевича это ничуть не огорчало.

Надежда звала его Пашей. До какого-то времени он и был Пашей. Но, появившись, Люба назвала его Павлушей...

Никогда Павлу Дмитриевичу не приходила в голову мысль, что личная его жизнь сложилась счастливо или удачно. Вся его жизнь прошла правильно, и личное не

могло быть исключением, а когда случалось узнать, что у кого-то, с кем он имел отношения, не все ладно по этой части, такой человек в глазах Павла Дмитриевича мгновенно терял стоимость, кто бы он ни был по положению.

Эпизод с Надеждой относился к первому этапу его жизни, и там было многое, что свойственно молодости и недопустимо, когда человек определился, то есть не только понял свою судьбу, но и как бы увидел ее всю до конца, предусмотрев случайности и подготовив себя к ним.

Глядя на стройные ряды архивных папок, Павел Дмитриевич как никогда ранее испытывал гордость за прожитую жизнь, и гордость эта была спокойной, без чванливости, всего лишь как констатация факта. Во времена его молодости слово «факт» было не просто популярным, оно было оружием и звучанием своим напоминало выстрел или оплеуху, звонкую и неотвратимую. Здесь, на полках, стояли ныне тысячи оплеух для тех возможных субъектов, кто мог бы попытаться поставить под сомнение смысл его жизни.

Павел Дмитриевич подошел к пульту, нажал нужную кнопку, и верхняя полка почти без звука поплыла в сторону из рядов. Что-то тихо и удовлетворенно щелкнуло в реле, и полка так же бесшумно поплыла по стене вниз и замерла в доброй готовности на уровне груди повелителя.

Он обеими руками вычленил из плотного ряда одну, постоял в задумчивости и пошел к столу, но у стола стоял еще некоторое время, пытаясь сообразить, почему взял именно эту папку под номером двадцать шесть, и, убедившись, что эта цифра никакого особого значения не имеет и что, следовательно, выбор его был случаен, сел в кресло.

Рабочие заметки, в сущности — дневниковые записи, неяркая, но добросовестная хроника обыкновенной государственной текучки. Но только в силу привычки нам кажется, что время наше обычное, что дела наши обычны, что государство наше обычное, что и мы сами — проходящи и случайны в сравнении с кем-то, кто был до нас или будет... Павел Дмитриевич умел ловить себя на мысли об обычности, умел перестроиться на иное понимание, необходимое всякому человеку, поставленному над судьбами других,— необычно время наше, такого не было никогда; необычно государство — оно неправдоподобно огромно; и могут ли быть обычными люди, живущие в этом времени и в этом государстве!

На всю жизнь запомнился сладкий холодок ужаса и восторга, когда впервые в роли хозяина оказался в кабинете, который помнил и еще хранил следы тех, чьи имена уже стали историей страны, когда опустился в кресло, едва утратившее тепло другого человека, пожалуй, из первого десятка имен совсем недавнего прошлого. Тогда, помнится, мелькнула мысль о самозванстве, что сию минуту войдет некто законный и спросит удивленно и угрожающе: «А этот что здесь делает?!» И станет стыдно и страшно.

Но в каком-то смысле все оказалось проще. Он словно подключился в работающий механизм, уверенность пришла скоро и росла по мере того, как осваивались нехитрые пружины, приводящие в действие те или иные системы механизма.

Павел Дмитриевич мог бы сейчас взять с полки папку с однозначным номером и сравнить почерки в той и в этой, одной из последних. Графолог без сомнения установил бы их тождественность, но профан сказал бы иное, что это почерки разных людей. Впервые эту разность подметила Люба, когда он единственный раз посвящал ее в секреты верхних стеллажей. Он тогда только ухмыльнулся не без самодовольства. Улыбался и сейчас, глядя на лихие хвосты своих росписей и подписей, на многозначительную небрежность завитков букв, на удлиненность дефисов, на вопросительные знаки, напоминающие удавку, на падающие восклицательные, на ряды строчек-спринтеров, устремленных куда-то за пределы листа или на другую его сторону.

Здесь же аккуратно вложены чужие письма полуделового характера и просто личные. Что-то вспомнилось или подумалось, и он стал быстро перекидывать листы, пока не наткнулся на нужное, и тут же понял, что эту папку вынул не случайно.

Перед ним лежало письмо из его родной деревни, полученное два года назад, весьма тронувшее его, но оставшееся в памяти лишь в качестве приятной эмоции. Перечитывал медленно, потому что чувствовал, что завтрашний его день каким-то образом, но непременно будет связан с этим письмом, что оно, это письмо, продиктует ему некий следующий шаг и поступок, да и чего там лукавить, он уже догадывался, какой именно шаг и какой именно поступок. Не спешил еще и потому, что давно научился не спешить с решениями, равно пустяковыми и важными.

*«Уважаемый Павел Дмитриевич! Пишет Вам Настя Ситкина, пионервожатая Моховской восьмилетней школы. Сообщаю Вам, что в школе у нас создан музей Боевой и Трудовой Славы и что среди портретов героев войны и труда висит у нас Ваш портрет. Правда, висит он недавно, потому что только в этом году мы узнали, что Вы родились в нашей деревне Мохово, когда она была еще только деревней, а сейчас здесь центральная усадьба совхоза «Зауральский».Пионеры нашей школы нашли людей, которые знали Вас и помнили. Это Горбунов Степан Васильевич и Будко Михаил Иванович. Они рассказали нам, как Вы боролись за коллективизацию в нашем районе, как в Вас стреляли кулаки. Сегодня в совхозе, а может, и во всем районе знают, что Вы из наших мест, и гордятся этим. Я, конечно, понимаю, как Вы заняты, но...»*

Дальше всякая чепуха. Когда Павел Дмитриевич по настойчивой рекомендации референта прочитал это письмо, вспомнились ему его односельчане, упомянутые в письме, но вспомнились мельком. Теперь же вспомнил их по-настоящему, всей полнотой памяти.

Горбуновы числились в бедняках. Причиной их бедности были три некрасивые девки и бугаем покалеченный отец. Хозяйство держалось на Степке, потому он был бесполезным для политики человеком. В комсомол его не приняли, потому что он постоянно попадал в истории со сватовством сестер-дурнушек, к тому же поколачивал их и попрекал куском хлеба, хотя они гоношились по хозяйству с утра до ночи. Павел Дмитриевич поразился собственной памяти — горбуновские невесты вспомнились так отчетливо, будто видел их в последний раз пару недель назад. Напрягся и попытался вспомнить их имена, но это уже было слишком.

Зато про Степку вспомнил все, точнее, именно то, что хотел вспомнить, чтобы объяснить себе, почему поморщился на его фамилию, когда первый раз читал письмо. Уклонялся! Поживиться чем-либо из раскулаченных хозяйств всегда был не прочь, даже по рукам получал за это, но сам ужом извивался, увертывался от участия в мероприятиях деревенской молодежи. А было-то ее, этой молодежи...

Мишка Будко был на два или на три года помоложе, но уже тогда прочно числился в прохвостах. Да и вся их семья из недавних переселенцев такова была, что за каждым глаз да глаз. В колхоз пошли первыми, хотя в бедняках не числились, потом первыми вышли, когда послабление сверху спустили, потом первыми каялись и рубахи рвали, носились по лесам и оврагам, выискивая попрятанный скот колхозный, и за каждую голову возвращенную требовали справку. Старшего Мишкиного брата из реки выловили,— чужой ведь скот отыскивали. Похоронили его как жертву классовой борьбы. На том семья настояла. Речь пришлось произносить...

Любопытно, какими словами Степка с Мишкой рассказывали о нем пионерам? И тут как-то впервые пришло в голову, что они старики нынче, Степка Горбунов и Мишка Будко. Наверное, бородатые, почтенные. Ведь он сам по

годам не старик ли и, не выйди он из деревни, сидел бы сейчас на завалинке, опершись бородой на палку, и смотрел мутным, слезящимся взором на мимо снующую жизнь...

Павел Дмитриевич отшвырнул письмо. Встал, подошел к зеркалу. Не старика увидел там. Много прожившего человека, но не старика. Никто не посмел бы назвать его стариком. А те, его сверстники,— старики. И конечно же, не было в том для него никакой особой тайны или загадки, прекрасно понимал причину своей относительной бодрости, следовало бы только определить, имеет ли он право гордиться... или это неприлично...

С тем же Степаном Горбуновым они начинали жизнь на равных. Поставь их некто прозорливый рядом, плечом к плечу лет в четырнадцать, разве усмотрел бы он их будущую разность судеб? Да ни в жисть! — как говорили в деревне.

Чем же определилось? С чего началось? А ведь это чертовски интересно! Сколько таких, как он, из медвежьих углов империи, из пролетарских трущоб, с самого дна, поднялось до вершин, выше его, туда, куда он все же не дотянулся... Впрочем, почему не дотянулся, он знает, потому что интуитивно всегда чувствовал свой потолок. А если бы не чувствовал? Ведь был такой короткий период десять лет назад, когда можно было попробовать сыграть по-крупному! Не рискнул. Потому что не игрок, а работник! Это была очень хорошая мысль. Она как-то достойно все ставила на свои места. И Павел Дмитриевич вернулся в кресло.

И все-таки, с чего началась его судьба, ведь должна быть какая-то точка отсчета, которая еще невидимо, но неотвратимо развела пути его и, положим, Степана Горбунова?

Может быть... да... может быть, тот наезд колчаковцев? Неужели именно это?

Появились они неожиданно. Не более сотни. Взяли несколько коней, короз, нарубали курей, у кого, уже не помнится, и ушли берегом речки Рассохи к дальним заимкам, и после о них ничего слышно не было. Колчака уже гнали к востоку, и это был не то отставший, не то заблудившийся отряд. Были они мрачны, но не злы.

Но все деревенские мальчишки запомнили и долго еще иногда вспоминали сверстника своего в ловко сшитой военной форме, с настоящим револьвером у пояса. Возможно, это был сын какого-нибудь офицера отряда.

Случилось так, что остановился он напротив Пашки и, опустив поводья, смотрел на него с высоты седла печальным взглядом. Пашка бросил на землю ворох травы, что тащил для теленка, и исподлобья, снизу вверх уставился на чистенького солдатика-мальчугана, на его погоны, лампасы, на револьвер и на руку, беленькую, тоненькую, с чистыми ноготочками, и на мордашку его, тоже беленькую и тоненькую; его можно было нарядить девчонкой, и никто не догадался бы. Но особенно поразили Пашку его глаза. Были они детскими и недетскими одновременно. И пряталось в них что-то такое, отчего Пашка почувствовал обиду и даже стыд, хотя ничего обидного во взгляде мальчишки не было. Но стояла за ним другая жизнь, непонятная и недоступная, и вся она, эта другая жизнь, словно подсматривала через грустные синие глаза за жизнью его, Пашки, подсматривала и обижала его этим подсматриванием. В грязной рубахе, в грязных штанах, босой, стоял он, опустив руки, нахмурившись и не отводя взгляда. Взгляд отвел тот. Тронул поводья, конь послушно мотнул мордой и не торопясь пошлепал вдоль деревни. Пашка смотрел вслед, но мальчишка не оглянулся, и это тоже было обидно. Захотелось кинуть вслед камень. Но не камень поднял он с земли, а траву, и, зайдя в стайку, где за деревянной перегородкой шебаршил теленок, швырнул ему под ноги и прошипел злобно: «Жри, падлюка! У... падлюка!» А ведь еще утром ласкал его и трепал за холку любовно, а тут вдруг противными стали и чавкающая корова, и тупо кудахтающие куры, и все... все...

Да, так было. И вспомнилось. Возможно, именно с того дня, не сразу, разумеется,— постепенно стал отдаляться он от деревенской жизни и к девятнадцати годам сознательно возненавидел деревню, весь быт ее лапотный, ее разговоры, сплетни, слухи, тупое упрямство, с каким цеплялась она за свое коровье-поросячье счастье и ничего не хотела видеть и понимать вокруг, а вокруг начиналась новая жизнь, и он отдал себя этой новой жизни всего без остатка.

Еще вдруг вспомнилось, именно вспомнилось, а не помнилось, как вечером того же дня, когда ушел отряд, он, Пашка, валяясь на сеновале, разыгрывал, возможно, первую в своей жизни фантазию.

Смотрит на него юный солдатик и говорит вдруг: «Хочешь как я?» — «Хочу»,— отвечает Пашка. Солдатик жестом Ивана-царевича делает знак, и к Пашке подбегают офицеры. Они одевают его в такую же форму, на ремень цепляют кобуру с револьвером, и кто-то подводит коня. Пашка садится в седло, и нет на его лице глупой улыбки, лицо его грустно-серьезно, как у того, другого, и они, как равные, смотрят друг другу в глаза, во взглядах их ничего обидного, но только понимание друг друга. Они едут рядом по деревне и вместе останавливаются, а промеж их коней кто-то из деревенских мальчишек... Наверное, тогда, когда мечталось, это был кто-то определенный, кого не любил. Теперь забылось. Они стоят и одинаково смотрят на него, а тот сопит и зло косится на обоих поочередно. А потом они с отрядом легкой рысью уходят из деревни и исчезают в зарослях речки Рассохи. И никого не жаль. Даже мать.

«Неужели бы уехал? — неожиданно вслух произнес Павел Дмитриевич.— С белыми!» Впрочем, тогда ему что белые, что красные... Это потом...

Неприятный осадок остался на душе. В руках снова оказалось письмо, но не читал, а только вертел в руках.

Если предположение верно, если все началось с этого эпизода, то все, поднявшиеся с низов наверх, так или иначе прошли тот же путь — через ненависть к почве, к среде, из которой вышли. Но даже если это закономерность, то следовало бы подумать, нет ли в ней порочности. К примеру, чего он хотел в девятнадцать лет от своих земляков-сверстников? Чтобы они были или стали подобными ему, чтобы они разделяли его ненависть? А если бы это случилось и все возненавидели бы деревню, как он...

Тут даже захотелось рассмеяться. Воистину, социальная метафизика постигаема исключительно ретроспективно, но и в ретроспекции основательно попахивает мистикой.

Но вопрос остался вопросом. Почему именно он вырвался из среды, а не, положим, Степан Горбунов? Может быть, все проще, и дело в генетике, возможно, от кого-то из своих предков получил он в наследие какую-то разновидность честолюбия. Не от отца ли? Об отце он ничего не помнил. Отец погиб в Галиции в пятнадцатом. В памяти о нем ничего нет, даже материнских рассказов. Мать же была типичной крестьянкой, и память о ней отчего-то холодна, как информация.

Пустое все это.

Павел Дмитриевич еще раз пробежал глазами письмо пионервожатой из совхоза «Зауральский». Теперь он определенно знал, зачем отыскал его.

## 2

Любовь Петровна сидела в мягком кресле в своей спальне, закрыв глаза, и ровным тихим голосом проговаривала: «Я спокойна. Я совершенно спокойна. Нет никаких серьезных причин для волнения. И потому я спокойна. Мои руки, я чувствую их. Они спокойно лежат на коленях. Они не дрожат. У меня нормальный пульс. У меня совер-

шенно нормальный пульс. Он не более семидесяти ударов в минуту. Я могу это проверить и убедиться, что у меня нормальный пульс. Но проверять нет необходимости, потому что я спокойна. Я совершенно спокойна!»

Смех смехом, а ведь помогало! Проделывала она это не очень всерьез, как бы с иронией подсматривая за собой, но каждый раз убеждалась — помогает.

Час назад она была буквально ошарашена сообщением мужа. Поспешила согласиться, чтобы скорее остаться одной и собраться с мыслями. То, что Павел вознамерился совершить, было нелепо по самому замыслу. Ехать в деревню, которую покинул пятьдесят лет назад, ехать обыкновенным пассажиром, ехать, как он заявил, непременно одному, это в его-то годы, с его здоровьем, не говоря уж о том, что он, наверное, и сам не помнит, когда последний раз ездил в поездах общего пользования и без сопровождающих лиц.

Конечно, она читала это дурацкое письмо. Но прошло два года. За это время вся жизнь перевернулась, и кто знает, что там, в деревнях, сегодня происходит.

Первой мыслью было — вызвать врача. Врачей Павел слушался и вообще лечиться любил, относился к лечениям серьезно. Может быть, оттого, что ничем серьезным не болел. За всю жизнь нож хирурга не коснулся его. Последние годы забарахлило сердце, заговорила печень, жаловался на ноги,— а все процедуры, что предписывались врачами, выполнял с той деловитой пунктуальностью, какая вообще была присуща ему от природы или, возможно, с годами сформировалась как черта характера.

Другим Любовь Петровна не знала своего мужа. Двадцать лет назад она получила его в таком виде и качестве, в каком он пребывал и теперь. Конечно, за эти годы он состарился, и что-то соответственно должно было измениться в нем, но она не заметила ни его старости, ни изменений, если таковые и появились, потому что и сама старела, а значит, изменялась в унисон со всем жизненным укладом мужа, что, возможно, и было главной причиной их прочного семейного счастья.

Образ семейного счастья сформировался в сознании Любови Петровны задолго до появления Павла, после многих разочарований, когда она чуть было не сломалась, но все же выстояла и вопреки обычной логике жизненных неудач обрела исключительную жизнестойкость и целеустремленность.

Когда-то, сделав первые блестящие шаги на сцене, отчасти, как потом поняла, благодаря внешним данным и голосу, она через несколько лет обнаружила себя не просто стоящей на месте, но отступающей, уступающей, с полувиноватой, полузаискивающей улыбкой режиссерам, которые как-то чаще нужного стали прикашливать в разговорах с ней, почесывать лысины или бороды, вымученно хмуриться или прихохатывать, а те из них, к кому она не пошла бы сама, стали посматривать при случае в ее сторону с пакостной многозначительностью.

Она не поняла происходящего и ринулась в бой за свое место. Не страдая предрассудками, она упала в постель самого модного и именитого, получила роль, о какой только могла мечтать, и провалила ее без треска, но определенно, и оказалась в катастрофическом положении, поскольку вовсе не намеревалась превращаться в любовницу старого, лысого, потного развратника, будь он семи пядей во лбу, тем более что в своей неудаче она тогда еще по инерции сопротивления винила именно его, как ей казалось, навязавшего ей чуждую пластику и стиль... Расстались врагами.

Потом встретился на ее пути человек с нелепым именем — Жорж Сидоров. Наверное, талантливый... И теперь, через столько лет, она тоже думала о нем через «наверное», но тогда послал ей Бог союзника. Жорж Сидоров бунтовал против апостолов театра, против управленцев культуры, против министерств и законоучителей. Его только что лишили студии и объявили модернистом, чем он гордился, но, кроме гордости, в активе ничего не имел, а иметь хотел ни больше ни меньше как все.

Они с восторгом упали друг другу в объятия, отвергнутые и нищие.

Вспоминая это время, Любовь Петровна всегда влажнела глазами и тщетно пыталась понять, отчего именно странной радостью отложились в ее трезвой памяти годы отчаяния и пустоты. Любви не было. Но выявилось нечто, способное соперничать с любовью, даже подменить ее, восполнить и придать смысл тому, что хладнокровной и справедливой оценкой могло быть поименовано решительной бессмыслицей.

Любви не было, потому что ее не могло быть. Это второе страшное открытие про себя или о себе она пережила именно в те странно счастливые дни. И даже годы. Оказалось, что как женщина она начисто лишена того, с чего женщина, собственно, и начинается. Потом, много позже, ей часто снился сон, будто стоит она перед большим зеркалом нагая. Она поражена цветом своего тела, начинает ощупывать себя,— оно мертвецки холодно, ее красивое, почти совершенное тело, и она кричит...

Нет, не сразу. Было еще сумасбродство. Дважды она уходила от Жоржа. И возвращалась. Жалкая, измученная, опустошенная. Жорж Сидоров был слишком занят собой, чтобы понять ее муку. К тому же все, что в любви есть видимое и воспринимаемое, все оказалось без особого труда имитируемым, и разве она не актриса, хотя и без искры Божьей.

Кстати, об искре Божьей. Как-то однажды, предельно удовлетворенный ею, Жорж сказал, что со всеми ее данными вся она как есть Божьей милостью жена, а не актриса вовсе, что мужики режиссеры, они ко всему тому же типичные самцы, мечтающие об идеальной самке на всю жизнь, но поскольку воображают себя гениями дела, а личное будто бы вторично, потому-то и ошибаются, встретившись с женщиной такого типа. Думают, что нашли актрису, и, не обнаружив актрисы, спешат расплеваться или приспособить под любовницу, вместо того чтобы жениться и продолжать искать актрис и любовниц. Он такой ошибки не совершит.

И, встав перед диван-кроватью в чем мать родила, торжественно сделал ей предложение.

Час или более того, пока она ревела навзрыд, он метался вокруг нее, не понимая, что означает ее истерика, и когда она накричала на него и выгнала его из собственной квартиры, зло прощелкав всеми замками, и тогда не понял и продолжал топтаться под дверью и театрально вышептывать в замочную скважину какие-то успокаивающие призывы.

К тому времени она уже все знала о себе. И все же эта, кем-то другим проговоренная правда была как пощечина, нет, много обиднее, хотелось во что бы то ни стало опровергнуть ее... или умереть. Но в любом случае уйти.

Так в третий раз она ушла от Жоржа Сидорова. Уверена была, что уходит навсегда, потому не щадила его, наговорила всякого по принципу: «А сам-то кто?» Жорж был огорчен, но и только, и заверил ее, что если она передумает...

Но все определилось бесповоротно. Если она не актриса, а жена, то уж в этом-то амплуа она должна, обязана реализоваться по самой высшей категории.

В те времена она кормилась на Москонцерте, где ее охотно использовали в роли ведущей на концертных мероприятиях. В санатории «особого назначения» ее и заметил многообещающий продвиженец, вполне красивый мужчина, правда, с опасным превосходством в возрасте. Она и сама увлеклась им, но не ранее того, как навела необходимые справки. Собственное увлечение не помешало ей провести с кандидатом в мужья достаточно долгую и весьма искусную любовную игру, результатом которой должно было стать обретение должного образа жены, в данном случае — жены-послушницы и кошечки. Угрызе-

ний совести не было, ибо предстояла игра на всю жизнь, а когда на всю жизнь, то это уже не игра, так она это понимала и с максимальной серьезностью отнеслась к изучению прихотей и пристрастий своего будущего супруга и была рада чрезвычайно, не обнаружив ничего противного ей или даже раздражающего. Она даже предположила, что это не просто удачное или счастливое совпадение, а возможно, они — пара, а что еще может быть другое, если ей все в нем приемлемо и она ему будет нравиться вся, потому что это в ее власти и в пределах ее способностей.

Сама была поражена той энергией, что выявилась в ней, когда взялась за устройство личного счастья. Супруг ее был поражен не менее, но не энергией, которую, разумеется, не заметил и не должен был заметить, он был поражен соответствием своей новой подруги жизни тому идеалу жены, который, возможно, лишь изредка и вполне лениво в неопределенных очертаниях воображался в предночные часы холостяцкой тоски.

Свою удачу он совершенно осознал в первый дачный сезон, когда Любовь Петровна в течение нескольких дней стала всеобщей любимицей не только мужчин, но и женщин, капризных и ревнивых спутниц его коллег по портфелям. Для нее же это было серьезным испытанием, и она выдержала его с честью, ибо сумела, будучи, без сомнения, самой очаровательной среди почему-то в основном некрасивых или рано подурневших, ни у одной из них, тем не менее, не породить зависти или какого-либо другого рода недоброжелательности.

Так началась ее жизнь, жизнь жены человека власти. Преимущества и обязательства, что проистекали из ее нового положения, она осваивала с равной добросовестностью, ни от чего не отказываясь, ни от чего не уклоняясь. Единственной неудачей, от нее не зависящей, было рождение дочери. Павел хотел... Не то слово — грезил сыном. Но была дочь. И было привыкание его, несколько даже затянувшееся, но оно произошло, и он полюбил ребенка спокойной любовью человека серьезного возраста, когда уже не приходится, рассуждая о жизни, оперировать категорией некоего будущего, но в полной мере довольствоваться настоящим, как бы даже притормаживая бег времени скрупулезностью проживания и переживания каждой ощутимой его единицы. Впрочем, это только в сфере личной жизни.

Любовь Петровна рано подметила эту странность его мышления. Ему было за пятьдесят, и он считал себя старым, когда говорил о своей жизни, о прошлом, она улавливала старческие ноты и интонации его голоса в такие минуты. Но когда речь заходила о работе или, как он говорил, о службе, а в переводе на честный язык — о карьере, то можно было подумать, что он считает себя бессмертным. Кстати, это была общая черта людей его круга, где сам Павел Дмитриевич числился в молодых. Любовь Петровна только ахала про себя иногда, когда некто, одной ногой уже стоящий в гробу, совершенно серьезно распространялся о своих перспективах и возможностях, нацеленных чуть ли не на следующее десятилетие, причем вовсе не пребывая в иллюзии относительно своих действительных физических возможностей. Но нужно и отдать должное: живучи они, эти люди власти, подчас оказывались — только позавидовать.

Когда она однажды поделилась своим наблюдением с Жоржем, тот, лязгнув большими, широкими зубами, буркнул злобно: «Еще бы! На службе у сатаны, да без льгот!»

О нем, о Жорже, она по-настоящему вспомнила где-то через год после рождения дочери. Воспоминание это было странным, двусмысленным, нечистым, словно не забывала вовсе, а приберегала резервом для какой-то будущей полноты жизни. К тому времени она уже знала себе цену, прочитала и прочитывала ее в глазах мужа всякий раз, когда они бывали на людях. Павел был смешон своей гордостью, но только в ее глазах, потому что знала его всего и посвоему даже очень любила. Но вот вспомнился Жорж, и ей захотелось отдохнуть от роли. Она сказала себе, что ей просто необходима разрядка, потому что, хотя игра и превратилась в жизнь, но игрой быть не перестала, и ей нужна разрядка, она настаивала на этом слове,— разрядка, чтобы сохранить форму. Потому вывела для себя такую хитроумную формулу: чтобы навсегда быть верной женой, ей нужен маленький тыл... В этой формуле были и другие слова, кроме одного — «измена»,— этого слова не было в ее мыслях, по крайней мере, так она полагала и верила.

Женщине ее положения завести или восстановить знакомство, не предусмотренное неписаным табелем о рангах, тем более если это знакомство предполагалось сохранить в тайне, считай, от всего света,— такая затея была бы с самого начала обречена на скандал, возьмись за нее человек, тем более женщина, с меньшим хладнокровием и меньшей изобретательностью, каковые выявились в арсенале талантов Любови Петровны.

Когда наконец эта встреча состоялась и она перешагнула порог его квартиры, не успело отзвучать коридорное эхо захлопнувшейся двери, как они уже были в объятиях друг друга. Он ей не понравился, но партию истомившейся страсти она исполнила с блеском.

В любовной паре с мужем она была в роли нежной, чуть томной ласковой кошечки, испытывающей тихое блаженство оттого, что об нее ласкаются, где финальная сцена — благодарное припадание к мужественному мужскому плечу, умиротворение и непременно засыпание раньше его, чтобы он еще чуть-чуть поласкался об нее, сонную, а затем нежно переложил уставшую головку на подушку. В позе уснувшей царевны приходилось лежать некоторое время без малейшего движения с благостно-сонным выражением лица, поскольку при свете ночника он еще имел обыкновение смотреть на нее. И лишь через десять — пятнадцать минут по выключении ночника можно было наконец дышать как хотелось, и развалиться в постели, как того требовало по-настоящему уставшее тело.

Она не то чтобы устала от этой роли, нет, ведь каждый раз в исполнение привносилось нечто новое, порою сущий пустяк, но по реакции партнера она немедля фиксировала успех, и удовлетворение, что испытывала при этом, было полноценным.

С Жоржем она была ненасытной кошкой, и в этот раз после долгой разлуки буквально потрясла его, а все прочие женщины, сколько их было у него, обязаны были поблекнуть, показаться сущими ничтожествами, на меньшее она не была согласна, ради меньшего не стоило стараться.

Жорж валялся выпотрошенный, а она демонстрировала неиссякаемую свежесть сил и желаний. Он должен знать, что потерял, он должен чувствовать себя обкраденным, он не смеет забывать ее ни с кем!

Она поставила себе оценку «отлично» и позволила ему прийти в себя. Он сначала вяло, потом бойко рассказывал ей о своих делах, дела его были все так же неважны. Он был жалок и некрасив и все же близок ей, даже нужен, может быть, хотя бы затем, чтобы как можно ярче проигрывать в сравнении с мужем. Оказалось, что она нуждается в таком сравнении, что после этой встречи еще безошибочней будет ее семейная жизнь, ее мудрая линия поведения. Измены не было. Была проверка на преимущество и не более того, проверка правильности главного выбора жизни.

Конечно, Жорж уже знал, что она вышла замуж за какого-то партийного функционера, но что ее покоробило — он даже не полюбопытствовал, за кого именно. Спросил под конец встречи, а Любовь Петровна отчего-то вдруг заколебалась, что-то насторожило ее, и она предложила Жоржу игру в тайну. Когда изложила ему заранее продуманную систему их будущих тайных встреч, он только развел руками, восхищенный ее житейской практичностью. Присмотревшись, уловила искорки тщеславия в его зрачках и решила, что полезнее поощрять эту нормальную слабость не избалованного жизнью человека, такое решение

продиктовала и жалость, ей было жалко его, это чувство явилось прямым результатом сравнения Жоржа с мужем, оно пребывало в непосредственной близости к презрению, хотя едва ли являлось таковым, потому что слишком хорошо было на душе у Любови Петровны, она была наполнена счастьем удачи, и никакое злое чувство не могло пустить корни в ее в общем-то от природы добром сердце.

Возобновление отношений с Жоржем имело еще одно доброе последствие. Жорж был универсальным источником информации о театральных делах, он был в курсе не только сплетен и слухов, что немало уже само по себе, но и был осведомлен о внутренней жизни всех без исключения столичных театров; репертуарные планы и их изменения, интриги и конфликты, личная жизнь известных и более-менее известных актеров, режиссеров, администраторов и даже опекунов из управления культуры — все это пребывало в боевой готовности к использованию за морщинистым лбом Жоржа, в полной бесполезности для него самого.

Так началось ее хобби. Получив от Жоржа очередную информацию, Любовь Петровна выбирала жертву. Впрочем, «выбирала» — это не то слово. Жертва наклевывалась сама еще во время разговора, и никакой логикой не вычислить бы закономерность, по которой отдавалось предпочтение тому или иному персонажу. Игра велась затем либо на понижение, либо на повышение, а вот это последнее имело уже определенную систему. Допустим, Жорж сообщал, что такой-то режиссер такого-то театра получил реальный шанс на взлет. Любовь Петровна начинала игру на понижение. Изощренности, каковую она проявляла в своей забаве, позавидовал бы самый искусный дипломат: улыбка восхищения или едва уловимого сарказма, как бы невзначай брошенное слово, пожатие плеч или жест, казалось бы, неопределенный, но достигающий цели лучше слова или потока слов,— и неудивительно! Те, кто служил орудием продуманной игры, были люди, власть и возможности которых не имели четких социальных границ, но, как в туман, уходили в социальность и терялись для глаза, и целенаправленная установка, запущенная по лучам и волнам власти, тоже исчезала в этом тумане, иногда слишком долго блуждая потаенными лабиринтами. Тогда Любовь Петровна нервничала и швыряла в бой все резервы, какие имелись под рукой. Но по истечении времени на том конце тумана, где все предметы обретали однозначные именования, возникал, как бы рождаясь из ничего, искомый и желаемый результат. И тогда где-нибудь в районе Бронных или Бульварного кольца появлялся озадаченный и растерянный человек, еще вчера грезивший славой Станиславского или Мейерхольда, а ныне обращенный в ничто...

Впрочем, на понижение было играть легко, если не считать случаев, когда Любовь Петровна своей гениальной интуицией вдруг осознавала, что ее игра натолкнулась на чью-то чужую игру, более профессиональную. Проигрывать она тоже научилась.

Играть на повышение было труднее, но зато несоизмеримо слаще бывала победа. Когда некто, внезапно утвердившийся на театральном Олимпе, вещал по телевизору о скорбности своих трудов, о достоверности его творческого накала и заслуженных успехах,— сидеть в кресле и слушать его небрежно-изысканные откровения — это было подлинное счастье, почти хмельное...

А поскольку по телевизору выступали не только режиссеры театров, у Любови Петровны постепенно сложилось впечатление, а то и убеждение, что все видимое и слышимое ею есть не что иное, как результаты игр, которыми забавляются люди, ей подобные, и потому жизни как таковой не существует, что не подлинны слова и поступки людей, что все люди — игроки на одном уровне и персонажи чужих игр на другом. Возможно, и ее муж, поскольку он все же не достиг и уже не достигнет самого высшего уровня пирамиды, тоже всего лишь персонаж чьей-то игры.

Такой подход к жизни обогатил Любовь Петровну еще одним преимуществом среди себе подобных: она никогда не принимала слишком близко к сердцу успехи или неуспехи мужа. Она умела разделить его радость и поощрить к закреплению успеха, но искусство успокоить, отвлечь, зарядить надеждой и энергией и просто быть нужной, необходимой мужу в трудные дни,— в этом искусстве Любовь Петровна не знала себе равных, и все это именно благодаря тому факту, что карьера мужа никогда не была ее болью и заботой, как у большинства жен ее среды.

Так сама волей и талантом построила Любовь Петровна свое семейное счастье, главным условием которого, по ее определению, было умение не желать невозможного, но зато из возможного извлекать максимум приятного и полезного. Счастлив был с ней ее муж. В этом она была уверена, подвергая систематически свою уверенность строгим тестам и проверкам. В спокойной, любящей обстановке вырастала дочь.

Еще раз или два в месяц существовал в мире странный человек с клоунским именем, которого он никак не хотел менять,— Жорж Сидоров. Возможно, странность его существовала главным образом в понимании Любови Петровны, ибо, без сомнения, таковым был Жорж в сравнении с ее мужем, но другим чувством, можно было бы сказать — объективным, она ничем не выделяла Жоржа из его среды. Он был в меру талантлив и пронырлив, в меру ленив и порочен и лишь без меры жаден к успеху, и опять-таки наличием всего этого набора качеств проигрывал Павлу Дмитриевичу, поскольку из них двоих настоящим мужчиной, без сомнения, был только один — ее муж.

Случалось, что Жорж исчезал на полгода и более, когда, например, получал приглашения в провинциальные театры на режиссуру, и к концу срока его исчезновения Любовь Петровна начала беспокоиться, ее посещали подозрения, что нашлась-таки некая из современных, патлатых и безнравственных, которой удалось затмить ее, непревзойденную, но все-таки всего лишь актрису любви, и Жорж догадался об ее актерстве, ведь неведомо женщине, как ее воспринимает мужчина, когда еще минуту назад они — одно, а теперь вот сытый и самодовольный, но всегда самец, всегда в инстинктивном поиске еще более совершенной самки...

Такие мысли, если до этого доходило дело, терзали Любовь Петровну и терзали тем более, что она никогда не теряла над собой контроль, никогда не позволяла раздражительности по отношению к мужу или дочери, но вся ее сокровенная боль нагнеталась в глубочайшем подполье души, куда никто и никогда не мог заглянуть.

Проходило время, и заранее обусловленным способом Жорж давал знать о себе, что он есть, что ждет, и, выдержав два-три дня, она таким же замысловатым приемом извещала его, что завтра придет. Это «завтра» бывало обязательным, чтобы он успел уничтожить все следы других женщин, она ведь знала, что он бабник, и именно из таких бабников, кому женщины нужны постоянно для присутствия при бесконечном монологе о своей неординарности, о беспринципности, злопыхательстве, интриге его врагов и недоброжелателей.

Ни разу за пятнадцать лет, а именно столько продолжались их необычные отношения, Любовь Петровна не разочаровалась в своем друге. Он был добросовестен в соблюдении ее условий. С годами выявилось еще одно несомненное достоинство Жоржа. Никогда ни единым словом или намеком он не попросил ее о помощи. А ведь ей ничего не стоило однажды поиграть на повышение и обеспечить успех своему другу. Но он не просил, а сама она... Кто его знает, как бы он повел себя в условиях успеха... В его принципиальности было нечто чрезвычайно положительное, чего Любовь Петровна как-то не могла взять в толк, не сумела найти логического объяснения и вынуж-

дена была принять как факт, как некую маленькую загадку в характере Жоржа, и это был, пожалуй, единственный элемент романтизма, приятно разбавляющий заведомую рассудочность ее отношения к Жоржу.

Так продолжалось пятнадцать лет. Уже вовсю лихорадило страну, и все чаще она видела мужа встревоженным и озабоченным, все невероятнее слухи сквозняками гуляли по салонам и квартирам, а Любовь Петровна, привыкшая к стабильности окружающего ее мира, не хотела ничему верить и упрямо делала вид, что ее ничто из происходящего не касается и не волнует и что самое верное средство предотвратить шторм — это не поддаваться морской болезни. В действительность ее швырнул Жорж.

Она, как обычно, известила его о посещении и пришла в назначенное время, но застала квартиру Жоржа в непривычном беспорядке, со следами совсем недавнего присутствия многих людей, мужчин и женщин, окурки на полу и бутылки под столами и по углам, и сам Жорж, какой-то встрепанный, взъерошенный, возбужденный и непротрезвившийся, с неприятно глупым самодовольством на лице...

Она обиделась и оскорбилась, но виду не подала и растерянность свою скрыла за доброжелательной иронией, которая прежде действовала безотказно, усмиряла Жоржа, сосредоточивала на ней, и он переставал быть кем-то, кем был, и становился одноприродным — любовником, жаждущим любви немедленной и взаимной.

Теперь же он носился по квартире, размахивал руками, усаживал ее в кресло, поднимал, пересаживал в другое и все время что-то говорил, говорил...

Ни к каким разговорам она не была готова, и неприятен был ей этот неопрятный, небритый мужик, впавший в детство, а как иначе, ведь мужчина всегда должен оставаться мужчиной, ей было с кем сравнить, она сравнивала и ловила себя на физической брезгливости к Жоржу, чего не бывало раньше. Захотелось заплакать от досады и обиды...

Жорж в очередной раз поднял, почти выдернул ее из кресла за плечи, больно сжал и продолжал сжимать, переходя на какое-то пакостливое хихиканье. От него пахло водкой и мясом.

— Ну, ты хоть понимаешь, какие времена настают? А ну, признайся, твой функционер-муженек еще не начал заикаться? Приготовься, скоро начнет!

Захотелось ударить его по лицу, но стало стыдно за это желание, Жорж не заслуживал, просто он маленький человек и не виноват в том, что он маленький. Она вымученно улыбнулась, пытаясь высвободиться из его влипчивых пальцев, но он не чувствовал ее состояния, захлебывался восторгом и злорадством.

— Трещит империя! Трещит, родимая! Ты слышишь! Тр... р... р... ещит! Они ее што... што... штопают, а она тр... тр... трещит!

Он кривлялся, гримасничал и становился все противнее и противнее.

— Слушай! — Он прижался к ее уху, зашептал: — Самое время рвать когти от аппаратчика! Мое время идет, понимаешь, да? Ну что, по боку его, а?

Она отстранилась.

— Прощай, Жорж. Ты чего-то не понял.

Когда она пошла к двери, он должен был кинуться за ней, загородить дверь, умолять ее... Ничего этого не было. Оглянувшись у двери, она увидела его удивленного, и только. Но обиды уже не было. Жорж перестал существовать.

Так она думала. И была уверена. И действительно забыла о нем. Все свои способности она мобилизовала на то, чтобы сохранить спокойную обстановку в доме, когда вся страна, словно самогоном, опилась свободой и буйствовала бессмысленно и нелепо. Со страниц газет и экрана телевизора врывался в ее таким трудом сотворенный уют немыслимый вздор, бред, который на глазах старил ее мужа, и она не могла с этим примириться, но по-прежнему знала только одно средство сопротивления — не верить в происходящее. А для неверия у нее были достаточные основания.

Жизнь Любови Петровны проходила без войн и революций. Это все было до нее, чтобы она и другие, ее современники, могли долго, долго просто жить, ибо нормальная жизнь — это когда без войн и революций. Миром правят серьезные и спокойные люди вроде ее мужа, у них, конечно, как у каждого, может быть масса всяческих недостатков, но дергунчики вроде Жоржа, им не конкуренты. Главное, полагала Любовь Петровна,— это чтобы серьезные мужчины не поддались панике, чтобы не сбились со своего внутреннего ритма, чтобы не задергались... Чего там, все мужики предрасположены к панике по причине природной грубости их душевной материи и неспособности к трезвой самооценке, не знают они ни силы своей, ни слабости, но всегда, глядясь в зеркало, видят миф, и только умная женщина ведает подлинную цену мужчины, его действительные пороки и достоинства.

Но вот случилось невероятное. Павел Дмитриевич подал в отставку. Это он так говорил, не вдаваясь в подробности, не объясняя. Ушел, и все. Так надо.

Это было неслыханно. Никто и никогда не уходил до него по доброй воле и с более низких должностей. Люди старели в креслах, дряхлели в креслах, там же, в креслах, их разбивали параличи, и если только наполовину — и тогда кресло оставалось за ними, и не разбитая параличом левая или правая половина продолжала числиться в списках и получать все, что ей положено, хотя, конечно, не в том дело, или, по крайней мере, не в этом главное. Главное — либо человек имел место, либо терял его, то есть, как говорится, получал взашей и сразу становился никем, анонимом, с которым прекращались даже личные отношения, он умирал заживо, и воскрешения не происходило...

Было ощущение космической катастрофы. Если бы, к примеру, на следующий день после того, как впервые за мужем не пришла машина, рухнул, развалившись на подъезды, их дом, Любовь Петровна восприняла бы это как закономерное продолжение начавшейся всеобщей катастрофы, ведь ее мир был составной и действующей частью мира большего, к тому же он был существенной частью, и потому непременно что-то должно было сломаться в общем механизме...

Впрочем, в растерянности Любовь Петровна пребывала недолго. Как ни странно, другое происшествие, воистину страшное и еще более нелепое, вернуло ей равновесие и трезвость мышления.

Еще ранее, обвиненный Бог знает в чем, застрелился человек из первой пятерки, если не тройки, человек, совсем недавно претендовавший на первое место. С небольшой натяжкой можно было сказать, что они дружили семьями. Он был знаток и ценитель живописи, прекрасно пел романсы, блистал аристократическими замашками и бескорыстно обожал Любовь Петровну, хотя ни разу ни словом, ни жестом не перешел грань, которую сама Любовь Петровна иногда, в период особого расположения духа, готова была передвинуть чуть-чуть поближе, но, разумеется, не делала этого, потому что была в совершенном очаровании от его жены, женщины властной и мягкой одновременно, к тому же красавицы и умницы.

Павел, по-видимому, слегка ревновал и потому был сдержан в оценках, а иногда даже покритиковывал, как он говорил, «барские замашки» своего старшего по положению коллеги, а Любовь Петровна не возражала, предполагая, что в данном случае срабатывает глубинно мужицкое происхождение мужа, инстинкт мужика, в котором совмещены ощущения превосходства и зависти.

И вот этот человек, скала, а не человек, опрокинут и уничтожен. Кем? Выскочкой и демагогом, которого еще вчера никто не принимал всерьез! В таком раскладе до-

бровольный уход мужа раскрылся другими сторонами. Если уж пришло время сенсаций и фокусов, разве не подвиг поступить именно так — хлопнуть дверью!

Однажды, войдя в кабинет мужа, застав его в кресле в арабском халате, скорбного и печального, Любовь Петровна затрепетала всем своим бестрепетным сердцем. Перед ней была осовремененная обстановкой известная картина «Меншиков в Березове». Захотелось сесть у его колен и своим глубочайшим состраданием вписаться в этот великий сюжет. Сейчас она любила его, в сущности старика, пылкой, восторженной любовью гимназистки, или преданной дочери, или верной жены, никогда не знавшей иных интересов и забот, кроме забот и интересов своего мужа...

Так началось новое действо в ее жизненном сценарии — любящая супруга поверженного властелина, поверженного, но не уничтоженного, утратившего власть, но не силу духа, не величие помыслов,— любящая супруга в роли доброго ангела-хранителя.

И ничто уже из всего, случившегося после, не могло повлиять на тональность ее настроения: ни внезапный уход домработницы, отслужившей у них восемь лет без малого; ни сомнительная рекомендация новой — подозрительной девы с плутоватым мерцанием зрачков из-под всегда полуопущенных ресниц; ни странное приглядывание за отцом дочери, до того времени видевшей отца исключительно глазами матери; ни онемевший «прямой» телефон и какая-то странная тишина, словно снаружи окутавшая их квартиру и выделившая ее в некое особое подпространство, почти не сопряженное с остальным пространством.

Иногда ей даже казалось, что все, бывшее с ней раньше, менее значимо, возможно, даже второстепенно по отношению к наступившему периоду ее жизни, когда в исполнении своей единственной роли она подошла к моменту, требующему высшего напряжения в проявлении ее способностей.

Быт семьи претерпевал ощутимые изменения, способные привести в отчаяние кого-нибудь, но только не Любовь Петровну. Возникшие трудности и сложности вдохновляли ее на активность, изобретательность, они поддерживали ее в состоянии радостного возбуждения, и она никогда так не нравилась себе самой, как в эти дни подступившего, казалось, к самым окнам их восьмого этажа нового всемирного потопа страстей и баламутства, потопа, способного сокрушить что угодно, но бессильного против сотворенного ею, исключительно ею искусного семейного ковчега.

Последние пять-шесть лет стало сдавать здоровье Павла Дмитриевича. Все реже и реже появлялся он в спальне жены. По известным причинам ее не очень-то огорчало это обстоятельство. Но именно в эти дни свершилось чудо. Вопреки мировому опыту пенсионерства Павел Дмитриевич вдруг забыл о болезнях, или они забыли о нем, так или иначе болезни отступили или отступились, и на семьдесят четвертом году жизни (можно ли в такое поверить!) он стал чаще напоминать о себе своей все еще бесспорно обаятельной супруге, словно сам внезапно вспомнил, что она ведь намного моложе... Разумеется, случившееся с мужем чудо не перешагнуло пределы, природой допустимые, и, вовремя почувствовав его тревогу по поводу своих возможностей, она без единой задоринки разыграла сценку слабости.

— Прости, милый,— шептала она смущенно и виновато,— я сегодня была плоха... А ты у меня такой!..

По руке, нежно гладившей ее лицо, она чувствовала, как он весь переполняется самодовольством и счастьем, и сама была столь же счастлива и довольна собой.

Еще одним чувством обогатилась душа Любови Петровны в то странное прекрасное время. Ненавистью! У незаурядных натур невозможны заурядные чувства. Ненависть Любови Петровны была цвета каленого железа, точнее, раскаленного железа. Порой она почти реально чувствовала и видела сноп всепрожигающих искр, взметающихся с ее ресниц, когда она смотрит... когда на экране этот тип, этот нынешний Первый, неизвестно откуда взявшийся и неизвестно куда ведущий страну... впрочем, известно — в бездну! Так определила она сама, она сделала это за своего мужа, которому следовало бы самому давным-давно определиться на этот счет, но он только хмурился, по-стариковски шевелил губами и, как ей казалось, что было просто обидно,— отводил глаза, словно прятал их от взгляда более сильного и непонятного противника. Она была убеждена, что Павел тоже его ненавидит, надеялась, что он просто излишне порядочен и не хочет пребывать во власти сомнительного чувства, не удостоверив его разумом, и, наверное, в этом была его слабость, та, возможно, единственная слабость, что явилась причиной возникновения предела его возможностей...

Но ничего! Ненависть Любови Петровны была за двоих, за десятерых, за десять миллионов. Не знала она в своей жизни человека, который был бы ей столь омерзителен и внешностью, и голосом, и манерами, и поступками. С наслаждением вглядываясь в изъяны его внешности, она шептала мстительно: «Бог шельму метит! Метит шельму Бог! Попробуй-ка отскребись!» Она была убеждена, что все самое прочное, надежное и незыблемое разваливается от одного прикосновения этого страшного человека.

«Да посмотри же ты! Он антихрист!» — крикнула она однажды мужу. «Глупости,— строго ответил Павел Дмитриевич.— Он всего лишь оппортунист. Обыкновенный оппортунист.— И добавил тихо: — Но я не понимаю, чего он хочет. Может, существует человеческий тип политического камикадзе? Не понимаю...»

Любовь Петровна понимала. Разрушитель! Человек, зрение которого перевернуто по вертикали. Все вниз головой. Так ему видится. И он всей мощью своего бесовства восстанавливает, а в действительности разваливает, разрушает, разрывает связи порядка. И сам будет погребен, но не одумается, но будет дробить вещи и отношения до последнего издыхания, потому что он гений разрушения и даже не носитель зла, но само зло, воплощенное в сгустке целенаправленной энергии распада.

«Господи! — шептала она.— Неужели его никто не остановит! Эти беснующиеся, ревущие толпы, они же на все способны! Как спастись? Как отгородиться? Какую стену выстроить?»

А муж ее, растерянный и недоумевающий, вдруг выкидывает номер, объявляет о намерении путешествовать по волнам всеобщего хаоса! Когда мужчина теряет самообладание, то превращается в сущую тряпку, это она замечала не раз. Ее спившийся отец... Об этом она запрещала себе вспоминать... И мать, изможденными руками цепляющаяся за алкоголика... все было зачеркнуто давно... И нечто подобное снова подступает к ней, к ее судьбе... И нужно действовать!

Первой мыслью было натравить на мужа врача. Но сползающая со стен Кремля эпоха всеобщего разрушения уже коснулась неприкасаемого. Их семейный опекун, еще весьма бодрый и шустрый профессоришка (она так теперь говорила), неожиданно подался в политику. Любовь Петровна уже наблюдала однажды его сморщенную мордашку в одной из пошлейших телепередач, где он блеял о свободе языком студента, отчисленного за академическую неуспеваемость. Этот вчерашний лизоблюд у сильных мира сего в последнее посещение их семьи заговорил вдруг выспренним языком и как-то демонстративно долго мыл руки после осмотра своего многолетнего пациента. Любовь Петровна стояла в дверях ванной с полотенцем, и ей очень хотелось стукнуть его по морде лежащей рядом на полочке розовой клизмой.

А поездку нужно было предотвратить во что бы то ни стало, потому что это был шаг в заведомое поражение. Если даже не случится ничего чрезвычайного, никто, к примеру, не воспользуется беззащитностью бывшего аппарат-

чика, никто не узнает его и не оскорбит, чего не вынесла бы гордая душа Павла Дмитриевича, но вдруг, надорвавшись на этой поездке, он безнадежно сляжет, то это будет именно поражением и ничем иным. А Любовь Петровна,— она же успела просчитать стратегию всех вариантов ближайшего будущего, где каждый день добровольного неприсутствия и неучастия засчитывался за год успеха и стремительно приближал триумф, который должен наступить непременно, будь то возвращение к делам во спасение гибнущего государства или справедливое и мудрое слово, произнесенное во всеуслышание в последние мгновения агонии и погружения в смертодышащий хаос.

Но для этого и во имя этого нужно на какое-то время стать невидимым и даже забытым, и никакой суеты, никаких бесполезных действий, которые могли бы свидетельствовать о пусть хотя бы временной потере масштаба.

Любовь Петровна встала с кресла аутотренинга, прошла через комнату и присела у туалетного столика. Она понравилась себе. В зеркале псевдовенецианского стекла на нее смотрела спокойная женщина с хорошим цветом лица, чистыми, почти молодыми глазами, хорошо очерченным ртом без единой морщинки у губ... и шея, и руки... и, наконец, волосы, пышные и податливые любой прическе... Любовь Петровна не очень ясно представляла себе границы так называемого «бальзаковского возраста», самого Бальзака она читала давненько, но ей нравилась такая характеристика женского состояния, этой характеристике она давала значительно большее толкование, имеющее отношение скорее к характеру, чем к возрасту, и если бы захотелось, смогла бы достаточно внятно определить «бальзаковское» в себе, но не было в том нужды, потому что она нравилась себе вся как есть, даже ошибки, что случалось совершать,— когда каялась в них или сожалела, все равно в душе улыбалась им. Она могла бы считать себя совершенно счастливым человеком, если бы люди вокруг, особенно близкие люди, были бы столь же последовательны и разумны в поведении. Но увы! И вот очередная забота. Снова нужно напрягаться и брать на себя ответственность, и хотя она знает и понимает, что ответственность за близких — это ее работа, но именно от работы она имеет право устать, а значит, имеет право на отдых, на передышку.

И что же она должна была вспомнить в такой момент? Разумеется, что на свете есть человек по имени Жорж...

Впервые нарушив правила конспирации, позвонила прямо из квартиры и была вознаграждена за смелость. Жорж был дома и откликнулся радостно. Раньше тщательно готовилась к встрече по части туалета, нынче же собралась за десять минут.

— Павлуша, я на часок...— крикнула из прихожей, но вернулась, потому что по-птичьи зачирикал телефон. Последнее время Павел Дмитриевич к телефону не подходил.

— Павлуша, тебя... не поняла кто... Подойдешь?

## 3

Он. Велик. Как один из очагов современности

Павел Дмитриевич был искренне огорчен реакцией жены на его сообщение о поездке в деревню. Он, пожалуй, вообще не помнил такого выражения ее лица, когда лицо ее словно окаменело в маске, из глаз будто ушла зрячесть и сама жизнь... Правда, это было лишь мгновение, но он испугался ее состояния, испуг затем сменился тревогой, когда пришла в себя и очень тихо сказала: «Давай еще подумаем об этом...» И поспешно ушла к себе, как-то излишне осторожно, но плотно прикрыв за собой дверь.

Конечно же, он понял ее чувства и был даже взволнован этим новым подтверждением ее любви и заботы, но в то же время и обиделся, ибо усмотрел в ее чувствах некий невысказанный приговор своему возрасту, возможностям своим, каковые, без сомнения, переоценивал и понимал это, но менее всего хотел бы в таком вопросе иметь единомышленника в лице жены.

Разговор состоялся в гостиной, и после они как бы разошлись в разные стороны, и Павел Дмитриевич еще долго расхаживал по кабинету от окна до двери, у двери всякий раз останавливаясь и намереваясь пойти туда, к ней, в ее комнату, и сказать ей что-то одновременно успокаивающее и обескураживающее, чтобы ей стало и спокойно и стыдно за свои бабьи тревоги, в сущности, перед пустяком — поездкой в деревню пусть не молодого, но ведь и не дряхлого мужчины... Но не пошел и не сказал, потому что понял, что именно сейчас не должен ни оправдываться, ни убеждать, ни доказывать. Сообщил, поставил в известность — и этого достаточно.

Однако окаменевшее ее лицо стояло перед глазами, ни о чем другом думать не мог и разрешил себе думать о жене, тем более что думы эти были всегда приятными, и сколько раз за все годы спасался он таким вот образом, чтобы отвлечься от огорчений и неприятностей, когда разрешал или приказывал себе думать о жене, иногда в ее присутствии, и тогда отвлечение было особенно полным и плодотворным, а она и не подозревала, каким бесценным резервом его душевных сил и положительных настроений была и служила.

Уже проверилось, что от похвалы и доброты Люба не становится хуже, что женское тщеславие решительно чуждо ей, что можно не ограничивать себя в благодарности, но... боялся, сдерживал себя, останавливал — и каялся в трусости, стыдился своего страха за это, без сомнения, прочно поселившееся в его доме счастье. Не год понадобился и не два, чтобы убедиться в этой прочности и удивиться ей. Прошел через приглядывание и присмотры и долго, очень долго не мог объяснить себе, чем же хорош для нее настолько, что она и любит, и верна, и глуха к искушениям, и пришел к самому что ни на есть простому выводу, что они всего лишь счастливая биологическая пара, ведь вот ему же совершенно не нужна другая женщина. В охотничьих домиках и прочих интимных местах проверил себя с другими — виртуозными искусницами любви, не однажды такое случалось, но всякий раз утром ничего, кроме стыда, отвращения и раскаяния. Вину в себе носил долго и в течение этого времени к жене не подступал, очищался, и лишь когда в глазах ее прочитывал беспокойство, тогда повторялось все, как в самые первые дни...

Павел Дмитриевич расхаживал по кабинету, заложив руки за спину. Маршрут кабинетной прогулки был выверен до сантиметров. Тринадцать шагов туда, тринадцать обратно, число шагов непременно нечетное, тогда развороты получаются в разные стороны и не случается головокружений. На местах разворотов слегка протерт паркет.

Подозревал Павел Дмитриевич, что привычка расхаживать по домашнему кабинету и там, в былых служебных кабинетах,— что привычку эту выдумал для себя сам, узнав однажды, что таковая была у Сталина, даже на мавзолее расхаживал. Как у большинства людей его возраста и положения, у него было сложное отношение к Сталину, и, разумеется, прямого подражания быть не могло, но не могло и не быть вовсе именно в силу сложного отношения к фактическому создателю государства, к управлению которым был призван не кем-нибудь, но вчерашними соратниками самого Сталина, так и не проговорившими до конца своей подлинной позиции в этом вопросе. В непроговорении виделась Павлу Дмитриевичу государственная мудрость, каковая, если бы состояла она из одних «плохо» или «хорошо», была бы не мудростью, но всего лишь моралью, категорией, неприложимой к сложнейшим нормам государственного бытия. Государство либо есть, либо его нет. Оно либо ослабляется, что всегда плохо, либо укрепляется. Ненависть пострадавших к Сталину справедлива, но эта справедливость проходит по другой ведомости, нежели справедливость

государственного устроения, и современниками она непроговорима до конца. Лишь время...

Когда думалось об этом, взгляд падал на бюстик Петра на мраморной полочке над рабочим столом. Выпученные глаза, истерически вздернутые усы, лицевые мускулы в неестественном напряжении,— безусловно, был шизофреник, и психопат, и, конечно же, преступник по меркам обычной человеческой морали, но первый поэт империи боготворит и воспевает его. Именно потому, что первый. Второй поэт проклинал бы его за самодурство, за палаческий нрав, за преступления против народа. И тоже был бы прав. Народ, кстати, таким и запомнил его — антихристом. Вот еще одна правда.

На фоне всего ныне происходящего и с учетом того, что еще может произойти и случиться с российской государственностью, как будет смотреться Сталин через столетие, положим?..

Тема эта была больной. Когда возникала в сознании, от нее хотелось избавиться и совсем не хотелось додумывать до конца...

И чего это ради мысль вдруг перескочила с одного предмета на другой, ведь думал о жене, и было на душе радостно и уютно... Может, все-таки пойти к ней, сказать что-нибудь простое и доброе, чтобы успокоилась, улыбнулась... Какая же у нее чудесная улыбка, только очень чистый человек может обладать такой улыбкой, почти гипнотической, почти лечебной... Он должен увидеть ее улыбку немедленно!

Павел Дмитриевич решительно направился к двери, но голос жены опередил его:

— Павлуша, я на часок...

Потом телефон, и снова ее голос:

— Павлуша, тебя... не поняла кто... Подойдешь?

Раздосадованный и даже раздраженный, Павел Дмитриевич нажал кнопку включения телефона и резко снял трубку.

— Павел Дмитриевич, здравствуйте! С вами сейчас будет говорить...

— Кто? — внезапно осипшим голосом переспросил он, и когда получил подтверждение, то показалось, что спит, что сон...

— ...прослышал о вас, захотелось побеседовать. Не уделите время старику?

— Да... разумеется... конечно... когда вы хотите?

— А если прямо вот так сразу? Знаю квартиру вашу, случалось бывать.

— Конечно. Я встречу...

— Вот этого не нужно. Я сам.

— Да, да, конечно... я буду рад...

— Тогда минут через пятнадцать, если не возражаете. Только скажите честно, корректен ли будет мой визит, вы понимаете, что я имею в виду?

Павел Дмитриевич наконец-то овладел собой и ответил уже если и не совсем спокойно, то вполне уверенно:

— Я с нетерпением жду вас.

— И прекрасно! Через пятнадцать минут буду.

Положив трубку, он торопливо обшарил карман халата, обнаружил мятый платок, протер лоб, но лоб был сух, он вовсе не вспотел, так только показалось.

Когда в последний раз он вспоминал о существовании этого человека? Пять, десять лет назад? Или вообще не вспоминал? Или не забывал никогда? Но, услышав фамилию, не вообразил ли себе голос из загробного мира, разве не был похоронен хозяин фамилии и голоса четверть века назад, похоронен заживо и вычеркнут из настоящего и прошлого, всего того прошлого, которое полностью ему принадлежало, где он был фактически вторым после самого Первого?

— Боже мой! Я же в халате! Люба!

Вспомнил, что она ушла, и всерьез рассердился. С остервенением раскидывал вещи, переодеваясь, загнал себя в одышку и суетой этой был противен себе, но справиться с собой не мог, волнение было справедливым и оправданным.

Лишь однажды он встречался с этим человеком, почти тридцать лет назад, когда вдруг не по профилю был назначен председателем комиссии по расследованию аварии на Уральском химическом заводе. Доклад о результатах делал в ЦК. И там был он, сказавший за все время присутствия Павла Дмитриевича в кабинете только одну фразу: «Переходите к следующему вопросу». После чего докладчик был выдворен с весьма одобрительной резолюцией, а через месяц он стал замминистра...

Теперь вот, через тридцать лет, этот визит! Конечно, это как-то связано с его отставкой...

Затягивая галстук, Павел Дмитриевич замер на мгновение. Сколько же ему лет? Ведь уж под сто должно быть! Невероятно! И тревога... Ведь подобный контакт еще год назад грозил бы трудно предсказуемыми последствиями, да и в голову не пришло бы пойти на контакт. Когда государство разваливается, полиция разваливается последней, следовательно, логично предположить, что телефоны попрежнему на контроле, да и «девятка» приписана бывшему «второму» посмертно, так что основания для тревоги не утратили силу.

Отмахнулся. Придирчиво осмотрел кабинет и с удивлением поймал себя на том, что осматривает свое жилище на предмет излишеств. Вот, оказывается, какие эмоции может вызвать призрак прошлой эпохи, хотя кому сегодня не известно, что они, те, ушедшие в проклятье, отнюдь не были аскетами, но ведь вот мелькнуло это ощущение страха или стыда за комфорт, и что это? Рудимент былой партийной одержимости? Тему следовало бы обдумать, но уже заверещал пропускной селектор, и Павел Дмитриевич встрепенулся, как рабфаковец на экзамене.

«Боже, на улице и не узнал бы!» — была первая мысль. Но разве только на улице... Белая голова, белые усы... но усы те же, и пенсне, и взгляд, но какой-то расплывающийся, узнаваемый и вроде бы тут же уходящий от узнавания, словно сопротивляющийся старости, но уступающий ей. Типично стариковская походка, но с претензией на твердость и бесшумность. Крепкое рукопожатие и на мгновение взгляд, как выстрел, в самые зрачки и через них в тайники души — кратчайшее мгновение, и будто ничего не было и быть не могло, дряхленький старичок с доброжелательной улыбкой.

Павел Дмитриевич с омерзением поймал себя на том, что тело его, возвышающееся над этим бывшим, автоматически, словно вопреки его воли, то жаждет вытянуться в струнку, то изогнуться в полупоклоне. «Да что это я! Немедленно расслабиться!» — приказал он сам себе, предупредительно уступая гостю проход в кабинет. Когда сели друг против друга, пришло столь остро требуемое спокойствие. На какое-то мгновение ушел из сознания факт собственной отставки, и Павел Дмитриевич даже испытал чувство превосходства перед этим человеком, продлись мгновение, и проскочила бы в позе, а то и в словах снисходительность... Но вовремя вспомнил, что и сам теперь «бывший», и такое родство по судьбе возбудило ни к чему не обязывающую симпатию к сидящему напротив человеку.

— Не поверите ведь, а вот помню вас, или, правильнее, вспомнил, как только прочел о вашем поступке. Очень дельный был доклад... об аварии на Урале, так ведь?

Павел Дмитриевич испытал нечто близкое к ужасу. «Господи,— мелькнула мысль,— машина! Запоминающее устройство!»

Гость хихикнул сквозь белые усы. Усы при этом не шевельнулись даже, звук будто из-за затылка выплыл.

— Признаюсь вам,— продолжал,— сам бываю потрясен свойствами собственной памяти. Иногда, представляете, перед глазами возникает листок с повесткой дня какогонибудь обычного совещания, и люди, и выступления... Ну, да не об этом хотел поговорить с вами.

И снова на секунду или менее прострел в зрачки, холодящий душу.

— Почему-то подумалось, что полезно бы встретиться...

Теперь, наоборот, усы шевелились, а звук словно запаздывал... и взгляд за стеклами пенсне словно свернулся в клубок.

— Дорогой Павел Дмитриевич, хорошо ли, до конца ли понимаете, что происходит вокруг нас? Что как-то понимаете, не сомневаюсь, иначе бы не ушли в такое время. Или, быть может, только догадываетесь?

Павел Дмитриевич развел руками.

— Наверное, так, догадываюсь. Но затруднился бы сформулировать ответственно...

— Вот! Очень хорошее слово! Именно — ответственно.

Взгляд его мгновенно потеплел, и что-то воистину сталинское, в том волшебном смысле этого понятия, существовавшего лишь на портретах, нарисовалось на всем его облике, и Павел Дмитриевич отреагировал на это самым примитивным образом — почувствовал себя польщенным и поощренным и тут же вздрогнул от сознания нелепости своего состояния. «Ясно, это мистика власти,— решил он,— и черт с ней, коли это есть! Меня это не должно унижать. В конце концов, он просто умней меня...»

— Великое происходит! Великое!

Толстенький пальчик с квадратным ноготком взметнулся вверх и замер над креслом на уровне глаз Павла Дмитриевича, и он растерянно уставился на этот палец-перст.

— Дорогой мой, человечество отрекается от идеала. На наших с вами глазах свершается великое, чудовищное и непоправимое!

Палец упал на колено и застыл на нем желтым крючком. Блеснуло правое стеклышко пенсне, это хозяин его вскинул голову, от усов отделилась нижняя челюсть и обнаружила прекрасные вставные зубы. Павел Дмитриевич все еще не мог достаточно сосредоточиться, чтобы вникнуть в смысл и интонации говорившего, и раздражался этим, но взгляд его упорно цеплялся за жесты, мимику — за второстепенное, а голос воспринимался как нечто полуреальное. Не снится ли ему это посещение?

— Великое или чудовищное? Не понял,— почти пробормотал он.

— Великая катастрофа — разве такое словосочетание противоречиво? Знаете, кажется, существует такая сказка, где некий мудрец над пропастью или над рекой сперва выстраивал в своем воображении мост, а затем уверенно шел по нему и преодолевал пропасть или реку именно в силу своего воображения. Но однажды на середине моста вдруг усомнился в реальности и тут же рухнул вниз. Мы, Павел Дмитриевич, были вот такими великими фантазерами, мы попытались построить мир на идее, на красивой фантазии, и нам это почти удалось, но идущий за нами усомнился! Разве вы не видите, как рушится все, что было почти незыблемым, разве вы не ощущаете, как противоестественна сама скорость, с которой все рушится вокруг нас. Мир, построенный по материальным принципам,— ему понадобилось бы столетие, чтобы достичь такого результата в саморазвале.

Озадаченный, а возможно, даже ошарашенный сказанным, Павел Дмитриевич воспользовался первой же паузой и встрял с вопросом, и, собственно, не ради ответа на него, но чтобы собраться с мыслями и сопоставить услышанное со своим представлением о происходящем.

— А он, *этот*, — он понимает, что происходит?

— Да что вы, помилуйте! — Ладонь с короткими пальцами простерлась в сторону телевизора в нише стены.— Всмотритесь в его лицо. Он жалок! Жалок именно потому, что совершенно ничего не понимает. Заметьте, стоит ему только посмотреть в какую-нибудь сторону, как именно там все и рушится. Взгляд усомнившегося срабатывает как динамит. И все, подобно ему, исступленно крутят головами и довершают крушение малых частностей. Мы, Павел Дмитриевич,— и опять вверх пальчик,— построили государство на вековой мечте человечества. А мечта, дорогой мой, требует колоссального напряжения воли. Наш народ не выдержал этого напряжения, он подумал чуть-чуть отдохнуть от мечты и теперь платит за свою слабость катастрофой, которая отшвырнет человеческую мысль в каменный век. Понадобятся столетия, чтобы снова возжаждать идеи, а может быть, человечество погибнет прежде, чем возжаждет.

— Но позвольте заметить,— Павел Дмитриевич не мог более не возражать,— в той, как вы говорите, мечте, там ведь было, мягко скажем, не все гладко...

Гость радостно встрепенулся, словно только и ждал этого вопроса.

— Не гладко? О чем вы? Да весь путь состоял из рытвин и ухабов. Но была одна главная ошибка, я бы сказал, роковая. Ее совершил Маркс, а мы поспешно восприняли ее и тиражировали до всякого индивидуального сознания. Маркс провозгласил *научное* построение счастливого общества. В этом провозглашении было чисто политическое лукавство, проистекающее от недоверия к народам, что, дескать, не поднимутся народы ради красивой мечты, а потому смастерим правдоподобное доказательство. А смысл-то как раз был в обратном, в неизведанности. Маркс тем самым заведомо изъял из великого эксперимента романтический аспект. Потому-то,— он подался весь к собеседнику, переходя почти на шепот,— потому-то и оказались мы одиноки. Запад не пошел за Марксом, потому что почувствовал сомнительность доказательств, а лишь один русский народ с его природной тягой к идеалу, к идеальному уступил нашему призыву. Вам ли не знать, дорогой Павел Дмитриевич, что народ — это как дети, только до определенного возраста и очень недолго можно их уверять, что они капустного происхождения.

Сокрушенно покачал головой, снял пенсне. Дряблые веки, слезящиеся глаза, мешки под глазами,— снял пенсне и перестал походить на самого себя. Замшевой тряпочкой из нагрудного кармана протер стекла, надел пенсне и взглядом как бы спросил: «Узнаете? Это я».

— Позволите мне еще порассуждать?

Павел Дмитриевич только руками развел.

— Тогда послушайте! «Петр сказал Ему: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И, вышедши из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи, спаси меня! Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему (заметьте!), говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?» Смеяться будете, если скажу, сколько вечеров просидел я над этим текстом. Поповские бредни, да? А вот давайте-ка подойдем к этому, как говорится, от противного. Допустим недопустимое. Что такой факт имел место. Тогда я предлагаю вопрос в стиле букваря: почему Петр смог пройти по воде? Поповская теория отвечает: потому что рядом с ним был Бог, который сотворил чудо и мог сотворить все что угодно. Тогда второй вопрос: почему Петр стал тонуть?.. Извините, я не утомляю вас своей болтовней?

— Ну что вы! — воскликнул Павел Дмитриевич не очень искренне.

— Так почему же Петр стал тонуть, если Бог всесилен? Не знаю, что ответил бы на это поп, а я отвечаю определенно: Бог здесь абсолютно ни при чем. Петр поверил, сильно поверил, и пошел, но усомнился и стал тонуть. А вот и вывод! Вера — это такое психическое состояние человека, когда единственно возможно нарушение материальной причинности! Можешь пойти по воде. А можешь и создать счастливое общество. Но для этого нужно такое напряжение в вере, чтобы она смогла преобразоваться в энергию созидания. История человечества знает тысячи примеров сотворения мелких невозможностей. Мы же предложили великое. Мы предложили объектом веры великую мечту всего человечества... Но увы! Великая мечта

требовала колоссальных жертв, и подвиг каждого состоял в том, чтобы быть готовым к собственной жертве. Усомнился — тони немедленно, не смущай других! Но уж так случилось, что к руководству мечтой, идеей, идеалом, если хотите, прокрался обыкновенный трус, который захотел застраховать себя на все случаи жизни. Образно говоря, он поцеловал идею в щечку и обрек ее на распятие.

Откинулся в кресле, задрал головку.

— Уверен, что народ в лучших его представителях сегодня нравственно страдает более нынешних жалких вождей, потому что сердцем догадывается, с чем расстается.

Пенсне вдруг превратилось в пару пустых стекляшек. Гость закрыл глаза, руки безжизненно распластались на подлокотниках. С театральным трагизмом произнес:

— Не вынесет народ этого разочарования. В ярость впадет. Страшные времена предвижу. Надеюсь, не доживу... Не увижу...

«Да может быть, он просто умом тронулся,— мелькнула мысль,— а я как мальчишка сижу и трепещу?» Павел Дмитриевич хотел рассердиться на себя, встрепенуться или отряхнуться от наваждения, но чувствовал, что не может, что душа его переполнена маетой и тревогой, он как бы увидел со стороны,— сидят друг против друга два старика в самом центре разрушающегося мира, вслушиваясь в сотрясения земли от падающих глыб, и платят полной мерой страдания за мудрость своих предвидений и предчувствований. На мгновение, на короткое мгновение вспыхнуло желание схватить желтую руку с короткими пальцами на левом или правом подлокотнике, схватить и сжать ее трепетно и без слов... Но тут же представилось невероятное — схватил руку, а она отломилась... Это сюрреалистическое видение отрезвило Павла Дмитриевича. Он обнаружил потребность немедленно отделить себя от человека в кресле напротив, обособиться от него, от его мыслей и построений, казалось, что если этого не сделать, то рано или поздно вылупится вопрос об ответственности, и было бы очевидной несправедливостью подставиться на равных с этим одряхлевшим монстром сталинизма.

— Простите,— начал тихо, но достойно Павел Дмитриевич,— ваши рассуждения я воспринимаю как некое образное истолкование нынешних событий, тем не менее мы — материалисты, и не правильнее ли было бы в сегодняшней ситуации искать реальные причины... то есть я хочу сказать, что всякий тот или иной результат предопределен изначальными посылками...

Он хотел еще что-то сказать, но замер, пораженный выражением лица гостя. Оно, лицо его, вдруг как-то разом опало, сникло, вычертилось бесконечное множество морщин, снова в стекляшки превратилось пенсне, хотя глаза оставались открытыми, но куда-то на самое дно зрачков провалилась жизнь, и зрачки казались темными отверстиями в бездну. Вся фигура в кресле осела, человек превратился в человечка, и Павел Дмитриевич не на шутку испугался, как бы тот не испустил дух прямо сейчас, прямо здесь, в его кресле. Но, слава Богу, нет! Зашевелились белые усы, и в тревоге оказались прослушанными первые слова фразы... А возможно, он начал с середины фразы.

— ...и это даже странно, что не поняли. Не будете же вы утверждать, что ушли по старости. Вы моложе меня лет на двадцать, так ведь?

Павел Дмитриевич кивнул, при этом физически ощутил, что он действительно моложе своего собеседника, и это всерьез взбодрило его, он даже позу в кресле занял более представительную.

— ...значит, ушли по причине неприятия происходящего. Тогда что же помешало вам понять меня?

Вопрос явно не был обращен к нему, и был рад, что может многозначительно промолчать.

— Говорите — материалисты... Материя порочна, потому что не вечна.

И странный взгляд на свои руки, сначала на одну, потом на другую. И вздох...

— ...вечны только идеи. Они правят миром. Но есть идеи чистые и другие, как бы перепачканные материей. Мы пытались построить мир на чистой идее. Для этого нужна была вера. Абсолютная вера. Сомневающиеся гибли безвинно в материальном смысле слова, но по виновности перед верой. Мы придумали идеал человеческого общества и шли к нему вопреки материальной логике, вопреки материальным законам, и был успех. Разве нет?

Это уже был вопрос к нему, но застал он Павла Дмитриевича врасплох, и ему только удалось жестом изобразить нечто, что, во всяком случае, не могло быть истолковано как ответ отрицательный.

— ...государство жило, и все в нем свершалось и исполнялось... Вы не можете этого отрицать. Это было самое могущественное государство, какое только знала история. Они, нынешние, постараются перечеркнуть и забыть, но те, что будут после них, вспомнят и ахнут! И будет их съедать тоска, потому что догадаются, какой великий эксперимент был загублен по робости и лени...

— Все, что вы говорите,— рискнул прервать его Павел Дмитриевич,— безусловно интересно, но это, извините, в моем сознании как-то с трудом увязывается с марксизмом...

— О чем вы? Марксизм — это теория. А всякая теория всегда лишь частный момент идеи, ее интерпретация с непременной привязкой к моменту времени. К сожалению, должен признаться, я это сам понял слишком поздно...

— И еще,— опять вмешался Павел Дмитриевич,— кто же все-таки виноват в провале, народ или некто один, как вы сказали,— первый?..

Непредсказуемо резкий взмах руки остановил его.

— Когда свершается подобное, невиновных не бывает. Все виноваты, я, вы, каждый... Но разная степень вины... И кто первый бросил камень — это важно, а то и первостепенно. Осознаете ли вы, уважаемый, что мы присутствуем не просто при катастрофе, но при величайшей за всю историю катастрофе... Может быть, лишь падение Римской империи... но это длилось столетие, и мир не был потрясен, как ныне,— до оснований.

— Но мир, если вы имеете в виду Запад,— возразил Павел Дмитриевич,— он радуется нашей гибели. По-моему, они просто трепещут от восторга.

— Ай, ай! — закачал стеклышками пенсне гость.— И этого вы не понимаете! Запад противостоял нам, но противостояние было на поверхности. А в глубине сознания западного мира таилось любопытство к нашему подвигу и надежда, да! да! — надежда, что мы скажем ему, не только западному, но всему остальному миру, новое историческое слово, ведь у них тоже тоска по идеалу, но западное сознание хитроумно и трусливо, они предпочитали выжидать. Восток же доверчив и прямодушен и пошел за нами... Кстати, этого вы, наверное, тоже не понимаете,— почему последние годы, я имею в виду пять-шесть лет назад, почему вдруг объявилось такое ожесточение против нас — империя зла и прочее? Раньше ведь мы не были мягче, а злоба именно сейчас. Так почему? Не понимаете. Вижу.

У Павла Дмитриевича было мнение на этот счет, но всего лишь мнение, а не убеждение. И он промолчал.

— От досады, дорогой мой, от досады! Они, прохвосты, раньше нас почувствовали надвигающуюся катастрофу... Что не смогли мы, что не справились, не вынесли свою ношу, они же хотели прийти на готовенькое, дескать, пусть русские попробуют, а мы учтем и без лишних мук и хлопот позаимствуем... И даже радость их сегодняшняя по поводу нашего краха — она тоже фальшива, скоро опомнятся и будут изо всех сил помогать нашим недотепам подгребать к центру рассыпающиеся окраины, потому что эксперимент был всемирный, и катастрофа аукнется всем без исключения.

Тоскливая безнадежность липкой слизью стекала с его слов, хотелось отстраниться, уберечься, сделать что-нибудь, чтобы замолчал он, смердящий оборотень, полутруп,

маньяк... Все эти ругательства проговорились в мечущемся сознании, причем не раз, а как бы по кругу, проговорились и сделали свое дело — выставили заслонку, словно круговую оборону заняли, и он, великий и страшный «бывший», еще не утраченным инквизиторским чутьем уловил перемену в настроении собеседника и засуетился, то есть вдруг задвигались части его тела — ноги, руки, голова, и туловище мелко конвульсировало, и все это дряхлое сотрясение означало попытку покинуть кресло. Но длилось это недолго. Павел Дмитриевич не успел даже встревожиться. Мгновение — и все целенаправленно определилось. Встали они почти одновременно. Хозяин был вежлив, любезен и предупредителен, но гость не обманулся.

— Подумайте над тем, что я сказал...

— Непременно,— ответил Павел Дмитриевич, и, поскольку был искренен в ответе, взгляды и руки их сомкнулись в дружественном пожатии. Проводить себя гость не разрешил. Удалился достаточно твердой походкой, не обернувшись.

Минуту или две Павел Дмитриевич стоял без движения, упершись взглядом в стену. В этом состоянии его настигла мысль, что все, здесь только что происшедшее, есть факт истории, что ни одно произнесенное слово не имеет права исчезнуть, что все слова, от первого до последнего, ценны не истинностью, но самим фактом их произнесения.

Торопливо прошел в свой кабинет. Он обязан дословно, исключительно дословно записать весь разговор, и кто знает, может быть, именно эта запись станет со временем самым ценным документом в его архиве!

## 4

Решено было, что как только самолет тронется с места на взлет, она начнет думать о том, что она любит в жизни. То есть не просто о хорошем, но о самом дорогом и важном.

И пока самолет утробно урчал, нужно было определиться относительно иерархии дорогого и важного, в этом определении она хотела быть предельно искренней, потому что понимала зависимость всех ее последующих мыслей от степени искренности начальной установки.

Место около иллюминатора обеспечивало право на необщение с соседом по креслу, достаточно отвернуться и закрыть глаза. Лишь бы сзади или спереди не попались громкоговорливые попутчики.

А направление мыслей должно быть такое: когда, с кем или с чем она бывает наиболее счастлива? Едва ли существует иной критерий определения любви. Во всяком случае, она другого не знает, коли так, то задача несложна. Ответ ясен и прост. Музыка!

Но стоп! Самолет еще трепыхается на месте, и сосед слева ерзает на месте в поисках ремней безопасности, и стюардесса воркует в микрофон, и вообще еще много посторонних шумов и движений.

Погода в Ленинграде обещана хорошая, значит, и белые ночи будут белыми, а не серыми, как в прошлом году, когда из-за дождей она толком ничего не увидела и не посмотрела, простудилась к тому же, да и прошлая поездка ее была просто прогулкой, в то время как нынче у нее дело очень важное и необходимое, так что хорошая погода — запасной вариант для радости на тот случай, если главная цель поездки принесет боль и огорчения.

Моторы взревели, и летающая металлическая коробка сорвалась с места, набираясь достаточной ярости для взлета.

Итак, о самом любимом. Безусловно музыка. Когда это началось? С самого начала. С первого звука, воспарившего к потолку из-под пальца. И потом всегда, вот уже двенадцать лет. За эти годы не было случая, чтобы она прекратила играть потому, что надоело. Только одна причина могла обязать ее встать со стула — усталость и, как следствие, плохая игра. Несколько учителей сменилось за двенадцать лет, все были ею довольны, но ни один не предсказал ей великого будущего. Когда однажды мать потребовала мнения, сконфуженный преподаватель пробормотал, извиняясь: «Знаете, игра ее очень правильна, но она не вкладывает душу... сухо...»

Боже! Какая это была обида! Подслушав ответ, она заперлась в ванной и, включив на полную все возможные краны, не менее часа ревела, стучала кулачками по кафельным плиткам и ругалась страшными словами, какие когда-либо слышала. Ей было восемнадцать лет, нужно было принимать решение. И она приняла его. Поступила в консерваторию, блестяще сдав экзамены.

Сначала думала, что все они ничего не понимают, не понимают ее, потому что ни у кого не видела равного ей отношения. Ее сокурсники могли лениться играть, учителя могли лениться учить, она же могла только уставать.

Но однажды открылось! Она поняла, что всегда — всегда! — играет только для себя. Вспомнила, что ее раздражают слушатели, что на концертах в школе и после школы она не воспринимала аплодисменты, иногда даже раздражалась, это был просто шум, сбивающий ее с тональности переживания. Припомнилось что-то похожее на ревность к слушателям, словно брали они им не принадлежащее, и оттого ей оставалось чуть менее, а обязано было доставаться все!

Затем она созрела и для самого главного признания, сокрушительного для любого профессионального честолюбия,— что по-настоящему она любит музыку только в своем собственном исполнении. Ее пальцы, то порхающие по клавиатуре, то замирающие в аккорде, то задумчиво блуждающие, то мечущиеся в отчаянии,— они, ее пальцы, казались ей иногда существующими сами по себе, но ради нее и во имя ее, и она была уверена, что у нее с ее пальцами какие-то и небывалые отношения, тайные для всех. В свободное от игры время пальцы жили неподлинной жизнью: они либо имитировали жизнь, либо вынуждены были функционировать в противных их предназначению ролях. А ее любимые позы в безделии? Руки на коленях, руки на столе, руки на страницах книги, и всегда под ее наблюдением. А ее отвращение с детства ко всякой работе, и вовсе не по лености или по каким-либо еще худшим мотивам, ведь бывало, что завидовала чужому умению, рукоделию хотя бы.

Но только музыка! Только в ней пальцы жили подлинной, настоящей, единственной жизнью. Случись что-нибудь с ее пальцами, она не стала бы жить.

Когда свершилось главное признание, пришло спокойствие и уверенность в правоте жизни. Уже не было обид, не было досады и уязвленного самолюбия, но было особо сосредоточенное понимание необыкновенности своих отношений с музыкой...

Самолет уже вовсю пожирал пространство, словно всасывая его в свое ревущее нутро, сам оставаясь при этом на месте. Движения не было. Была работа... И думалось хорошо и спокойно. Думать о музыке можно было бесконечно, но не так уж много пространства между столицами, и нужно было переключаться на другие, более спорные объекты ее любви, а по определившейся иерархии сразу после музыки — мать. Мама! Именно так она поправилась в мыслях. Мать — это чья-то чужая мама.

Предстояло просмотреть на предмет спокойной и трезвой критики постулат, с которым она выросла и который еще ни разу, то есть никогда не побывал под сомнением, но именно в силу этого и не мог быть подлинным. Суть его была такова: ее мама — идеальная мама. Такое убеждение — уже счастье или источник счастливых чувств и редчайшая удача в жизни. Трезвость, однако же, подсказывала, что ничего идеального не бывает, и чем скорее она сама откажется от наивного мнения, унаследованного

от детства, тем вернее шанс никогда не разочароваться в самом близком тебе человеке.

Первый догмат: моя мама — красавица! Боже мой! С каким восторгом наблюдала она за своей матерью в детстве и потом, когда и сама уже поглядывала в зеркало, и еще позже, когда возненавидела зеркало, и теперь, когда вполне примирилась с ним, ведь и теперь она подглядывает за умелым материнским туалетом, восхищается и завидует ее вкусу и пониманию меры. Мама безусловно красива, конечно, ее рост — изъян. Но вот она, ее дочь, разве выиграла что-нибудь от того, что пошла в отца и вытянулась качающимся колоском?

Нет! Таким ходом мысли догмат не пошатнуть. Нужно сравнить... с какой-нибудь актрисой, например...

Но не сравнивалось. Хуже того, вдруг слезы подступили, совсем как иногда в детстве, когда подсматривала за матерью и трепетала от восхищения и любви. Лет в четырнадцать она открыла в матери нечто новое для себя и поначалу была немало напугана этим открытием. Как это случилось? Отец стоял у окна гостиной, чем-то озабоченный... Мама подошла к нему, встала близко, близко... Отец был в шелковой белой рубашке, мама тоже в чем-то легком... Ее грудь как-то сама вдруг подалась вперед, и словно слепящий свет вспыхнул перед глазами дочери в момент их соприкосновения. Между ними, между этими двумя (на мгновение она забыла, кто они) произошло что-то прекрасное и стыдное, стыдное, но прекрасное, и это стыдно-прекрасное вдруг обернулось невидимой перегородкой, ажурной ширмой между ними и ею, между родителями и дочерью. Так начался новый этап подглядывания. Из-за страниц книги, в зеркальной глади рояля, в игре теней освещенного окна и, о Господи! — в замочную скважину спальни, через которую, увы! или к счастью, увидеть что-либо было невозможно, но услышать...

Любовь матери к отцу вдруг из некоего плоского понятия превратилась в нечто объемное, в объеме жила тайна чувств, не действий, разумеется, действия уже давно не были тайной, но чувства... откуда они берутся и куда прячутся в обычное время, когда в делах или на людях? Она думала, что так бывает только у молодых и скорее по вине молодости, чем по причине. Оказалось, от нее были скрыты великие тайны отношений между отцом и матерью, что, собственно, и есть любовь в самом полном понимании этого слова.

Та первая сцена у окна врезалась в память более всех прочих, и три года понадобилось, чтобы воспроизвести ее в собственном исполнении. На выпускном вечере в пустом классе, откуда только что выскочили другие двое, она подошла, как ей казалось, точной походкой мамы и прислонилась, прижалась и сначала почувствовала его, а затем и себя и зашлась от восторга, но все это длилось, может быть, несколько секунд, и вдруг больше ничего, кроме неудобства позы, и губы, когда дошла очередь до них, уже ничего ей не сказали.

«Это потому, что не люблю»,— подумала она и высвободилась. Надолго. Но мать с этого дня она обожала еще больше, чем прежде, а в нестареющей страсти к мужу видела подлинный подвиг чувства, и всякий раз, когда отец оставался на ночь в своем кабинете, воспринимала это как обиду для мамы и сердилась на отца за его никому не нужную деловитость и возраст,— что еще может загонять мужчину на ночь в кабинет!

Шли годы, а мама не старилась, мама оставалась красивой.

Она была красивой для всех мужчин, знакомых или сослуживцев папы, для его начальников и подчиненных. Уже не было загадкой этакое потепление глаз очередного гостя, когда мама приближалась к нему и обращалась своим особым, одновременно низким и нежным голосом, который никогда дочери не удавалось воспроизвести. Любезности, коими мама одаривалась, не бывали банальностями, и какие бы слова ни произносились при этом, в них всегда слышалось тоскливое облизывание на прекрасную чужую собственность. И ни разу (а возможность для наблюдения не ограничивалась!), ни разу в маминых глазах не возникало ничего похожего на взаимность, то есть ни на одного мужчину она не взглянула, как смотрела на мужа, а ведь какие статные и достойные красавцы, случалось, склонялись к ее маленькой ручке с длинными пальчиками и прекрасными ноготками!

Что же видела она в отце, безусловно солидном и приятном мужчине, но способном громко сморкаться за столом и не слишком опрятно кушать, валяться на диване, не снимая туфель, и, умываясь, фыркать, как лошадь? Что же за феномен — ее мама? Выйти замуж за человека вдвое старше, двадцать лет обожать его и желать (уму непостижимо!), желать его, шагнувшего в восьмой десяток? Может быть, она извращенка? Нет! Эта мысль отвратительна и несправедлива. А может быть...

Она дернулась в кресле, ремень безопасности больно резанул по бедру. Освободилась от ремня, мельком взглянула на соседа. Слава Богу, спит или дремлет. В круге иллюминатора холодная космическая синь, и чем-то эта добротой прикинувшаяся мертвая синь сродни той мысли, что вылупилась в мозгу как бы в наказание за чрезмерную добросовестность рассуждений. Теперь не отвертеться, теперь додумывать...

А может быть, ее прекрасная, ее милая мама — глупа? Просто глупа! Может быть, она всего лишь «душечка»? Ну конечно, ей никогда не приходило в голову взглянуть на мать с этой стороны, а если теперь взглянуть, то, возможно, все встанет на свои места?

А как может провериться «душечка»? Единственно, потеряв предмет обожания. Значит, если трезво судить, в случае смерти папы (о Боже!) нужно быть готовой к метаморфозе. Надо быть готовой к измене!

Да, скорее всего, так — ее мама глупа, ведь ничем, кроме глупости, невозможно объяснить все ее добродетели, ее молодящуюся страсть к старику. Ведь всего лишь два дня назад снова был уловлен тот, теперь уже давно понятный блеск в глазах, и пальцы, скользнувшие по кисти отца, и напрягшаяся грудь, чуть приоткрывшиеся... Как всегда, страшно стыдно смотреть-подсматривать, но, как всегда (нет, как стало совсем недавно!), что-то такое же, стыдное и прекрасное, входило, овладевало и ее пальцами, и ее грудью, и ее губами. И подолгу моталась голова на подушке, и в тихих судорогах подрагивало тело, словно жаждало избавиться от недуга или проклятия.

Безусловно, ее милая мама Люба глупа. Но тогда так ли умен и значителен ее обожаемый папа? Папа был строгим богом, которому если вокруг него что-то и неподвластно, то только потому, что он еще и добр и готов милостиво позволить другим, таким же избранным, как он, бывать периодически в роли богов. На всякого, стоящего на самой высшей ступени избранности, папа смотрел без зависти и без прочих недобрых чувств, потому что лишь по собственному своему желанию не стоял сам на сверкающем острие пирамиды, поскольку видел свою миссию в том, чтобы сохранять абсолютную трезвость не только в самооценке, но и в оценке других, склонных временами захлебываться и давиться слюною власти. Папа был непостижимо мудр, справедлив и нравственен, за что и была ниспослана ему красивая, верная и любящая жена.

Но вдруг все кругом зашаталось и завибрировало, а великая пирамида, с вершин которой так благодатно смотрелось в горизонты,— закачалась, накренилась, превратилась в Пизанскую башню, и первым, кто оказался жертвой неравновесия, был ее любимый и обожаемый папа.

Мама Люба как-то странно (а теперь понятно — именно по закону характера «душечки»), мгновенно перестроилась и с еще большей нежностью смотрела на своего супруга, словно его вовсе не вышвырнули из Кремля, а вознесли над ним.

А круг пустоты, что мгновенно образовался и окольцевал их семью, а навсегда умолкший «прямой» телефон, а искроподобные взгляды из-под ресниц и из-под бровей профессоров и профессорш, а лукавое злорадство тех, кто еще вчера почитал за честь знакомство и общение, а внезапная занятость некоторых приятелей и подруг — во всем этом не просто обида сердцу и боль для души, но и несправедливость, вскрывающая ранее неведомую суть бытия, притворявшегося цельным и однозначным.

Уже не было сомнений, что во всем случившемся есть вина отца. Неясен был характер этой вины. До самого последнего дня, до того дня, когда он впервые остался дома, вместо того чтобы поехать на работу, реальных изменений в жизни семьи и в непосредственном окружении не ощущалось, хотя там, на орбитах общественного и государственного, уже погрохатывали громы ненастий, но не воспринималось, не верилось, не хотелось... Поверилось, когда коснулось. Имя отца смаковалось в прессе, и, о Боже! что они говорили о нем, эти ублюдки новоявленной демократии. Они не имели права, эти ничтожества, даже фамилии его произносить без имени и отчества, это было дико слышать — фамилию ее папы швыряли на полосы опаршивевших газет даже без инициалов!..

Но он виноват! Он сам виноват! Он не должен был уходить. Не ушел бы, и, возможно, все обошлось...

Так думала поначалу. В том видела его вину — в слабости, может быть, даже в трусости.

Но от информации не отвертишься, уши не заткнешь, глаза не закроешь... Она побывала на одном собрании и заболела. О других — Бог с ними! Но что там говорили о папе! Хотелось прорваться на сцену и хлестать по физиономиям, особенно по одной... такой красавчик, не более тридцати, стройный, холеный, с большими красивыми руками, он все время вскидывал их, то одну, то другую, говорил, как раздавал оплеухи, и она заплакала от обиды, кто-то оглянулся на нее недоуменно, а она знала, что стоило бы ей только взять за руку этого мальчишку и привести в дом, и посадить за стол напротив отца, и дать им поговорить полчаса, не больше, разве не убедился бы он, что просто глуп и горяч, разве не устыдился бы собственных слов. Она просто видела эту сцену: спокойный, доброжелательный папа и напротив него этот, с красными от стыда ушами... Он обеими своими красивыми руками жмет руку отца и лепечет что-то срывающимся от волнения голосом.

Подумать только! Папа — зажравшийся аппаратчик! Это папа-то — зажравшийся?!

Но — аппаратчик...

Тем вечером она, аккуратно щелкнув замком своей комнаты, просидела над семейными альбомами. Не плакала, но слезы нет-нет да и капали на глянцевые фотографии и оставляли следы, как поспешно ни вытирай.

Был папа, любимый и боготворимый, а был аппаратчик, которого вдруг возненавидели те, кто еще вчера развешивал его портреты... И здесь, в альбоме, он был представлен и как папа (один, с мамой или все втроем), и как «аппаратчик», уже нигде не один, а непременно с кем-то, и эти «кто-то» тоже все известны и засмотрены с портретов и репродукций, а вот этот, этот и те двое — предатели, один из них, по крайней мере, бывал в доме и даже, кажется, на даче и говорил так же, как и все, и ничем не отличался, а теперь оказалось, что он всегда, видите ли, понимал, что все неправильно, и знает, как правильно! И слушают! И верят! И никому не противно, что он потеет, когда говорит, даже по телевизору видно, как потеет, потому что тужится.

В одном из альбомов она нашла пачку фотографий в целлофановом пакете, заклеенном скотчем. Она знала, что там. Там папа со своей первой женой, отдельные ее фотографии и коллективные, где они тоже оба.

Она всматривалась в лицо женщины, когда-то бывшей на месте мамы. Совсем другой тип. Некрасивой назвать нельзя, красивой — тоже. Простое лицо, но выражение, как и прическа,— все из тридцатых — сороковых и из черно-белых фильмов.

Как они жили, почему разошлись, почему никаких контактов за столько лет? Разошлись, как чужие или как враги?

И в том и в другом случае что она думает о папе?

Неделя понадобилась на розыски. Фамилия-то у нее отцовская. Был шок, когда узнала, что папина жена уже четвертый год находится в доме для престарелых, нечистой радостью встрепенулась мысль: хорошо, что разошелся, сейчас имел бы жену-старуху и сам был бы настоящим стариком.

Так она оказалась в самолете на Ленинград, на окраине которого в тихом живописном месте расположен пансионат для пенсионеров союзного значения.

Когда уже объявили о посадке и попросили не покидать своих мест до специального приглашения к выходу, тогда только решилась честно ответить на вопрос: зачем ей все это надо? Она хочет испытать настоящую боль, она уже предчувствует мощь этой боли, это будет нечто похожее на страдания наркомана, лишенного очередной порции наркотика. Эта женщина... На одной из фотографий у нее такое выражение глаз... она не пощадит. Такие люди не знают милосердия, им можно верить, не в том смысле, конечно, что суждения их истинны, но лишь в том, а это важнее прочего, что они искренни и правдивы, своей правдой они способны убивать и не чувствовать угрызений совести, потому что совести для них тоже не существует, но всегда есть только одно — правда, как они ее понимают. Вот это! Вот такое прочиталось в глазах первой папиной жены на старой фотографии. Она не пощадит, она будет бить наотмашь, и это хорошо, нужна боль, большая боль, после которой наступит трезвость. Уже предчувствовала, какие изменения должны произойти в отношении к родителям. Обожание и преклонение должны быть разрушены в душе, на смену им придет спокойная любовь взрослого человека к своим близким, самым близким, нет, единственно близким.

Таксист долго рядился, и это было обидно. Запросил оскорбительно много, словно почувствовал, что имеет дело с пассажиром, не знающим цену деньгам. А если честно... ведь молодой же, и она не уродина, но торгуется, как с какой-нибудь бабкой на Казанском вокзале.

Ничто не поразило и не удивило ее в обстановке пансионата. Примерно так все и представлялось, если не считать контрольно-пропускного пункта, где тщательно, от первой до последней странички, был просмотрен ее паспорт весьма сердитым дядечкой, который к тому же упорно хотел усвоить, кем посетитель приходится данной гражданке и почему, если они не родственники, у них одинаковые фамилии. А может быть, он был любителем газетного чтива и по этой причине заклинился на фамилии?

И вот она состоялась, эта встреча Натальи Павловны Клементьевой с Надеждой Петровной Клементьевой.

— Так. Ты дочка Павла. Похожа. Очень похожа. Говорят, что если дочь похожа на отца, то у ней больше шансов на счастье. Должно быть, глупость. Недоказуемо. Садись. Друзья прислали бразильский кофе. Будем пить и говорить.

Кофеварку держала в руке, как пистолет — на уровне груди. Вся такая плотная, с той же самой короткой стрижкой, что на фотографии, старая, конечно, но все же не старуха, и голос четкий — в общем, угадала. А может быть, они все одинаковые, эти старые коммунистки, где-то она уже видела таких, наверное, по телевизору. Даже юбка, кофта — знакомы, видены. Само время штамповало этих деловых женщин. Мысль понравилась. Время штамповало! Маму рядом поставить — смеяться можно. Хотя смеяться нехорошо. Мама счастливая, а у этой что? Фотографии по стенкам, грамоты какие-то. Кому это сегодня

нужно? Но вот есть же друзья, что прислали бразильский кофе.

— О чем же мы должны с тобой говорить? — не глядя в глаза, спросила Надежда Петровна, разливая кофе в чайные чашки без блюдец.

— Почему — должны?

Наташа немного растерялась не столько от самого вопроса, сколько от тона, каким он был задан. И не угадать, что в этом тоне — нарочитая строгость или враждебность.

— Я о папе хотела...— И поперхнулась горьким, горячим, несладким кофе. Сахар не предложен. Сама пьет без сахара. Наверняка имеется теория о вреде сахара, обязательная для всех окружающих... Сама не употребляю и вам не советую!

Нет, раздражаться нельзя, иначе беседы не получится! Наташа напряглась и изобразила улыбку. В ответ улыбки не получила.

— Конечно, о чем тебе еще со мной говорить! И что же ты хочешь услышать от меня?

— Правду,— выдохнула Наташа, но этот «выдох» ей почему-то не понравился, и потому поспешила поправиться: — Как вы ее понимаете, конечно.

Коротковолосая старушка поджала тонкие губы, прищурилась многозначительно, и, чтобы не захлебнуться неприязнью, Наташа восстановила в памяти одну семейную фотографию, где ее теперешняя собеседница молода, весела и вполне хороша собой в соответствии с нормами привлекательности своего времени. Любил же ее когда-то отец... и ласкал... и у него было с ней все... хорошо. Пусть не так хорошо, как с мамой, несравнимы же, но тогда были другие вкусы.

— Ишь ты, правду!

Уже второй раз они одновременно поднимали чашки с кофе, и Наташа удивлялась, как можно такими большими глотками пить нестерпимо горячий кофе. Что, у нее губы деревянные?

В сумке, что была повешена на спинку казенного стула, лежали конфеты, печенье и фрукты, но не решалась достать, боялась, что разрушится «деловой» характер их встречи, решила потом, уходя, оставить, сделав вид, будто забыла в волнении...

— Любишь его?

— Конечно.

И опять одновременное вздымание чашек.

— Трус он. Всегда им был. К женщинам это не относилось.

«Зря приехала! Зря! Ничего она не знает об отце!»

— ...жил, как вразвалочку по лестнице подымался, ступеньки прощупывал, каждую в отдельности, надежные ли, чтоб не хрупко, не скользко... Человек он неплохой...

— Для меня он хороший человек. Не об этом я хотела спросить вас.

— Очень ты похожа на него. Да, дети — это тайна. Мне не открылась. Сама виновата. Много в чем мы виноваты сами...

«Слава Богу! — с облегчением подумала Наташа.— Она не машина. И сейчас главное — как можно меньше говорить, чтобы не спугнуть». Но не удержалась:

— Сейчас все говорят о виноватых...

— Вот теперь все ясно. Ты приехала узнать, в чем виноват твой отец? Так?

— Не совсем...

— А если я не знаю? А если я ничего не знаю? Может такое оказаться, что на старости лет я башкой своей опустела?

Она отставила чашку, через стол подтянулась к Наташе. Глаза круглые, старые, и ничего в них...

— Тебе как раз могу рассказать. Больше некому. Здесь никому не могу рассказать. Не поймут и осудят. И правильно сделают. Знаешь, что у меня в голове происходит?

Она приложила ко лбу руку тыльной стороной, а напрягшаяся ладонь выявила такое количество линий, что любой хиромант заблудился бы в их лабиринте.

— Ты представь себе, что там, в голове, тысяча мыслей, и живут они в полном беспорядке, ну, вот как если бы я однажды споткнулась и головой об косяк, дурой не стала, но все смешалось...

Замолчала, вглядываясь в Наташу, потом откинулась на спинку стула. Рука упала на стол, замерла, но пальцы слегка шевелились или подрагивали на полированной поверхности. Смотрела теперь куда-то за спину Наташи, или вообще никуда, или вовнутрь...

— И вот представь такое, что все мысли там,— она ткнула пальцем в висок,— они там нескольких цветов, «синие», положим, «красные», «зеленые», но все вперемешку. Я даю команду «синим», к примеру, и они тут же выстраиваются в ряды, а все остальные жалкими червяками стелются и извиваются меж их рядов. Но могу свистнуть «красным», и они тут же восстают победоносно и топчут прочих, и прочие сразу превращаются в червяков.— Она засмеялась почти беззвучно, только губами и бровями, и короткие, слегка взлохмаченные волосы вдоль ушей заколыхались...

«Зря приехала!»

Но старушка вдруг вся собралась, как сжалась, и в глазах въедливость и жесткость.

— Об отце спрашиваешь. Конечно, лично о нем тоже могу сказать. И хорошее и плохое. Но ведь не это главное для тебя. Не в нем дело, а в нас. Во всех нас. И во мне тоже. Мы все были заодно. Кто кого любил, кто кого ненавидел, но по главному мы были заодно. В нас дело. И ты хочешь узнать о нас от нас самих? Так ведь? Тебе хочется определиться, и ты надеешься, что я тебе помогу. Можешь мне поверить, я умела это делать — помогать определяться. И как еще умела! Без малого сорок лет при комсомоле...

И вдруг совсем другим, почти добрым, почти ласковым голосом:

— Давай-ка допьем кофе! Совсем остыл.

Наташа вскочила, схватила сумку, стала торопливо выкладывать содержимое и была обрадована, увидев в старушечьих глазах обыкновенную житейскую заинтересованность и радость.

— Конфет таких давненько не видывала! Ох, какой сладкоежкой была. В сумочке всегда конфеты таскала, в молодости леденцы, потом кое-что повкуснее, но больше всего сгущенное молоко любила, банку могла за один присест уплести. Паша эту мою слабость очень даже поощрял. В первую годовщину нашей совместной жизни преподнес чуть ли не мешок больших, поверишь, почти в ладонь шоколадных конфет. Стащил из какой-то реквизиции. Я их ела в одиночестве, а обертки сжигала в огромной пепельнице из черепахи. Мы тогда оба курили. Потом оба бросили. Сейчас не курит?

Не сразу сообразилось, что Паша — это ее отец, и даже когда сообразилось, контуры не совпали до конца, а все только что услышанное как бы закрепило раздвоение образа, нужно было сосредоточиться, чтобы отключить внутреннее сопротивление всему, что еще будет услышано. Но как это трудно! Что это значит — реквизиция? Почему неприятно?..

— Ну, так вот, милая... Наталья... А ведь получается, что у нас с тобой одинаковые инициалы — Н. П. К.! Может быть, что-то есть в этом совпадении?

Нет, Наташе ни в чем не хотелось совпадать, скорее напротив, стенку бы выстроить, иначе в какой-то момент можно почувствовать себя предательницей по отношению к своим. Чужой человек, как вот эта старушка, кем бы она когда-то ни была для отца, она не должна быть допущена ни в одну клетку души, тем более что нет свободных клеток, все занято отцом и матерью. И самой собой. И музыкой. Нет места!

Что-то, видимо, прочиталось в ее глазах, потому что Надежда Петровна не то чтобы сникла, но посуровела определенно, и даже был какой-то полужест, словно отодвинула от себя принесенные угощения.

— Ну, порассуждаем? Давай дадим команду «красным» мыслям. Не возражаешь?

Наташа вяло улыбнулась. Пожала плечами.

— В человечестве всегда существовали несчастья, а причиной этих несчастий было неравенство. Одним хорошо, другим плохо. Марксизм предложил вариант максимального счастья для максимального числа людей. Для большинства то есть. И мы начинали с нуля. До нас было вечно плохо. С нас началась новая история. Оглядываться было нельзя. Семьдесят лет для новой эры — это же мгновение! Мы ничего не успели, а уже стоим перед судом. Нас обвиняют в том, что гибли люди.

А теперь послушай! Ежегодно в автокатастрофах погибает по стране несколько десятков тысяч человек, тонут, кончают самоубийством, становятся жертвами преступлений,— тысяч пятьдесят в год получается. А за десять лет или, к примеру, за двадцать?

И вот тебе первая «красная» мысль: может быть, это нормально, что в обществе постоянно гибнет какое-то число людей! И вторая, такая же «красная»: не надо было останавливаться, надо было продолжать выбивать из общества врагов явных и потенциальных, сочувствующих врагам и не сочувствующим нам. Ведь тот же капитализм, пока он формировался, разве не прошел по трупам? Кто просчитал, сколько несчастья на душу населения и в единицу времени приходилось в каком-нибудь семнадцатом веке? Может быть, нам нельзя было уступать в жестокости, а со временем количество переросло бы в качество, и чистота социалистической идеи окупилась бы? Потому что идея была честной. Никто из основоположников не врал, когда жаждал всечеловеческого счастья, я уверена, они были честными людьми. А мы взяли и вышли из боя...

— Как вы можете так говорить!

Наташа смотрела на нее, как на привидение из фильма ужасов, а та была спокойна, и это спокойное проговаривание ужасного гипнотизировало так, что холодели пальцы.

— Я могу так говорить, потому что так думается, а если думается, то когда-нибудь и выскажется. Только имей в виду, в твоих расширенных зрачках сейчас тоже ложь. Вот, дескать, какое чудовище передо мной, а я не такая, я другая, я добрая и никому не хочу зла! Так ведь думаешь? И лжешь! И все лгут, кто так думает! Потому что хотеть зла и не препятствовать ему — одно и то же. Отчего началась революция? От сострадания к тем, кому плохо. Американцы вопят о демократии, а в это время в Эфиопии миллионы умирают с голоду. Как при этом рассуждают американцы? А примерно так: где-то есть эфиопы, которым не повезло, они родились эфиопами, чтобы умирать с голоду, и с этим ничего не поделаешь. Мой кусок хлеба все равно всех не спасет. И живут, и веселятся, и наслаждаются сытостью. До той поры, пока кто-то не вырвет у них кусок изо рта.

Ты внимательно слушай, я не сегодня об этом подумала, я ведь поседела именно здесь, вся поседела, до единого волоска. Что, не догадалась, что крашеные? Стараюсь!

Ты представь, умирающему раньше срока все равно, от чего он умирает, уходит из жизни: от голода или от того, что его расстреливают как врага народа. Смерть есть смерть, и у ней только одно значение и один смысл — перестать быть навсегда!

А живущему? Если по высшей правде, то ему тоже должно быть все равно, отчего кто-то другой умирает и где это происходит, в соседнем подъезде или в Эфиопии. Но ведь не так? Значит, ложь! И вот по такому счету наша революция — самое честное действие в истории человечества, потому что не о себе только думали, а обо всех живущих на земле и о тех, кто будет жить. А сегодня американцы или кто-нибудь еще там — они самый подлый народ, потому что могут спокойно жить лучше всех, а всем остальным позволяют жить хуже. И к тебе это относится, ведь ты уверена, что тебе положено так жить, как ты живешь, а другим — им другое положено...

Она потянулась к Наташе через столик, свою холодную руку положила на ее пальцы.

— И я! И я ведь живу в этой богадельне для избранных, а ведь знаю, как живут в обыкновенных домах для престарелых. Знаю, но живу. Потому что все мы подлы и только лжем без устали о гуманизме и любви. Знаешь, что такое гуманизм? Это смерть! Да! Получается, что никто не имеет права жить, если кто-то где-то умирает. Но все живут, и, значит, гуманизм — ложь человечества. Ложь или смерть... Что выберем? Будем лгать и выживем или умрем по солидарности с другими умирающими? А?

А вот тебе и вывод из моих «красных» мыслей: революция наша, которую мы все предали, была попыткой преодолеть всеобщую ложь! И мы должны были, обязаны быть беспощадными, никого не жалеть и ни с чем не считаться, чтобы вывести идею нашей революции на весь мир. Мы устали от беспощадности к соплеменникам и предали человечество, увековечили мировую ложь... Можно, я съем конфетку?

— Что? Конечно... Пожалуйста... Это вам...

— Ты об отце услышать хотела. В чем он виноват. Он лично. В том же самом, что и все. Был момент в пятидесятых, нужно было принять решение. И мы с ним приняли. Переметнулись в сторону Хрущева. И, так сказать, в аспекте «красных» мыслей твой отец совершил предательство и на предательстве сделал себе карьеру. Он ведь хрущевский выдвиженец. Как и я. Я тоже...

— Получается, что он должен был идти против Хрущева, то есть назад к Сталину, и вы считаете...

Взметнувшаяся ладонь прервала ее. Надежда Петровна улыбалась хитро и заговорщицки.

— Это если по «красным» мыслям! А вот сейчас я съем еще одну конфетку и дам команду, ну, положим, «зеленым» мыслям, и посмотрим, что получится, а? Как здоровье отца?

— Спасибо. Серьезного пока ничего. Хотя, конечно, ему ведь сейчас уже...

— Знаю. Сколько ему, я знаю. Все о нем знаю. Ничем не удивишь. А по «зеленым» мыслям, милая, вот какая арматура складывается. Человечество — только разновидность живых существ, часть фауны, так сказать. Хотя и высшая часть, но закон один: выживают по силе и по способности. Кто-то выживает, кто-то обязательно гибнет, чтобы другой выжил, потому что всем выжить никак невозможно, но вырождение и всеобщая смрадная гибель неизбежны. Войны, голод, эпидемии — не по причине несовершенства, а по закону самой сути выживания. И если где-то временно тишь да гладь, в другом месте непременно мор и погибель. И вообще, все муки земные — благо, не будь их, всеобщих или когда у каждого свое, то разве можно примириться с неизбежностью смерти! Где-то прочитала, помню, и затрясло меня, что, мол, осуществись рай на земле, ходили бы по этому раю приговоренные к смерти и тосковали бы смертельно, потому что смерть всегда принудительна. Но получается так, что самый несчастный человек получает самую большую компенсацию, умирая, освобождаясь от несчастий. И вся жизнь, милая моя, по закону «зеленых» мыслей есть неслыханная подлость и ложь!

Но, как я уже сказала, заметь... Ну, вот опять зрачки как блюдца! А ты дыши ровнее, ты же ко мне за моей правдой пришла и сладости принесла мои любимые, так что слушай из ума выживающую вечную комсомолку! О чем я? Да! Уже говорила, что временами где-то случается тишь да благодать, и это вершины достижения человечества. А мудрость в том, чтобы понимать временную и пространственную ограниченность благодати и цепляться за нее и

сохранять сколько можно. И по закону «зеленых» мыслей Америка — самая мудрая страна... Нет, я не о том...

Наташа не могла понять, слушает ли она, слышит ли, но думала о том, что неприятен ей сморщенный нос, и старческие усики под носом, и короткая, морщинистая шея, и кадык, прыгающий туда-сюда, желтый, похожий на мышь. Ее надо жалеть, решила, но вдруг забыла, как это — жалеть. Чтобы не унижать жалостью?

— ...и самый нелепый и бессмысленный народ — это мы. Появились в человечестве недоумки, в разных странах они появились, и человечество должно было травить их, как бешеных собак, а их терпели, как слабоумных. И вот нашелся целый народ, несчастный народ, который взял да и разыграл карту всеобщего счастья!

Понимаешь, Наташенька, кто мы по «зеленым» мыслям моим? Трижды преступники! Потому что соблазнили равенством и тем самым ослабили борцовые качества сражающихся за выживание. Нарушили баланс природы! А папаша твой, что ж, он и тут проходит по общему обвинению. Как мыслящая особь обязан был понять. Но, чтобы понять, нужна смелость. А мужики, дорогая моя, в сущности, трусы. Оттого они иногда и подвиги совершают, чтобы от страха избавиться. Они и смерти боятся больше, чем женщины. И жизни боятся. Из кожи вон лезут, потому что она у них от рождения гусиная! Отчего, думаешь, папочка твой так внезапно в кусты драпанул? А потому, что сообразительный! Я бы не догадалась, рыла бы землю копытом до последней минуты. А он учуял, что жареным запахло, что за шиворот могут взять...

— Неправда!

Наташа хотела крикнуть громко и звонко, но голос сорвался, между слогов горло перехватило сбившееся дыхание, и вместо крика получилось злобное шипение, перепугавшее старушку так, что она отпрянула на спинку стула, и если б стул не подпирался сзади комодом, могла бы и опрокинуться. Жидкие волосенки на голове ее всколыхнулись, чуть ли не каждый в отдельности, и тут же вяло опали. Погрустнела.

— Любишь его. И хорошо. И правильно! А я, знаешь, какая дура была! Нет, уродина! Представь себе, меня оскорбляла одна только мысль, что я должна рожать! Я должна, а они — нет. Им только удовольствие похотливое без всяких последствий! Им, паразитам, лишь бы вытряхнуться! Может быть, я оттого и была такая свирепая, что главной этой несправедливости пережить не могла. Исправить! Знаешь, какое мое главное удовольствие было? Испортить мужику... под самый конец... Делала вид, будто ничего не понимаю... Сюсюкаю, дескать, что с тобой, милый! А его корежит, корежит... И как только они меня терпели? Впрочем, тут загадки нет. Умела я им карьеры устраивать. И отец твой... Ну, ну, не ершись! Он от меня как от трамплина! Раз! И сразу вверх! Это я умела...

Она занесла руку над коробкой конфет, пальцы ее чуть шевельнулись и ковырнули из гнездышка продолговатую в блестящей обертке.

— С коньяком? — спросила, сияя почти детским любопытством.

— С ликером.

— Да ну?!

Аккуратно развернула, надкусила, зачмокала.

— А есть у меня еще «белые» мысли. Хочешь?

Пожалуй, Наташа уже не хотела. «Опять какая-нибудь гадость!» — подумалось. Но нужно выслушать все, что может быть сказано. Никто никогда с ней так не говорил. Общались, это бывало...

— Только «белые» мои мысли такие грустные, что в полную силу им хода давать нельзя. Можно плохо кончить. Я ими даже намеком ни с кем не делилась. Ты первая будешь. Но для тебя они не опасны. А то и польза может быть...

У нас тут вот под окнами огородик небольшой для стариковской забавы. Я их презирала всех, кто там копошился. Первые годы здесь книгами обложилась, глотала, как сумасшедшая, всяких вольтеров да лессингов. Наглотаюсь и еду лекции читать по теории правильного социализма. А вот в прошлом году... Есть тут у нас один старец, гэпэушник бывший, сентиментальный такой, сейчас уже лежит, не встает... Кстати, надо его сегодня навестить! Так вот, уговорил он меня посадить редиску. Грядочку мне миниатюрную соорудил, метр на два. Натыкала я пальцем семян. Он поливал. Однажды почти за руку притащил, смотри, говорит, Надежда, чего тебе земля возвращает. Смотрю — парные зеленые лепесточки из земли, как детские ладошки, выкинулись и лежат, чистые, зеленые на грязно-сером. Не верилось, что от моих пальцев, я же потом полдня ногти чистила и советчика этого проклинала. Не верилось! Казалось, что обман, что сам он навтыкал в грядку листочков и дурачит меня. Взяла один и вырвала. А там корешок, тоненький и длинненький. Просидела я Бог знает сколько над этой грядкой, и вот тут напало на меня, нашло...

Подумала я: а что, если вся моя жизнь была неправильной с самого начала? Что, если нужно было мне лет в девятнадцать — двадцать выйти замуж за хорошего, простого, доброго человека, который бы жизнью жил, а не политикой, и нарожать ему и себе детей, положим, двух сыновей и дочь или двух дочерей и сына, и кормить их грудью, обязательно грудью, потому что какой толк, и не рожала ведь и не кормила, а моешься в бане, и прикасаться к ним противно, спеклись...

Вот только в «белых» своих мыслях я хотела быть честной до конца. Ты ведь, поди, еще не знаешь, что значит быть честной в мыслях до конца? Не приходилось? Нужды не было? Да?

Наташа пожала плечами. Отвечать не хотелось.

— А честность была вот в чем: нужно было разделить мою жизнь на две очень неравных части. В первой я бы рожала, растила, снова рожала и растила... Пеленки, одежки, завтраки и обеды, и это изо дня в день, из года в год,— подумать страшно даже о такой жизни.

Но зато во второй, очень короткой, части сейчас была бы у меня большая семья, дети и внуки, кто где, но все равно свои, они любили бы меня и благодарили, а на семейных сборах восседала бы я в центре благодарного потомства этакой широкобокой курицей и кудахтала утробно и самодовольно. Вот тут-то и следовал вопрос: а стоит ли одно другого?

Она встала со стула, подошла к окну, жестом приглашая Наташу. Но Наташа не пошевелилась.

— Вот она, эта грядка. Я к ней больше не подошла. Из окна смотрю иногда. Нет интереса...

— А на вопрос как вы ответили? — тихо спросила Наташа.

— Этого я тебе не скажу. Другое скажу. По «белым» мыслям моим отец твой, милая девочка, виновен, только не перед социализмом и человечеством, а передо мной. Было такое в самом начале, приготовилась я рожать. Не решила, а скорее так, по традиции бабьей: получила семя — взращивай. Сказала о том мужу своему, вождю комсомольскому. Только-только взапрыгнул он на ступеньку в ковровой дорожке, плечи вразлет, глаза соколиные, рукой как за дверную ручку возьмется, того и гляди, дверь с петель снимет и к ногам хозяина кабинета положит...

Подошла, оперлась руками на столик, нависла над Наташей, не поднявшей глаз.

— Он мне все объяснил так обстоятельно, что даже стыдно стало. Такие дела в стране свершаются, а я с утробой своей... А ведь можно было попробовать, необязательно же троих, кто знает, а вдруг да открылось бы что-то мне или во мне, как думаешь? Открылось бы? Или уже тогда была я конченой в бабьем смысле? Теперь думай да гадай! Ну, что скисла? На что рассчитывала, когда шла ко мне?

— Ни на что...

— Не поверю, милая. Признаюсь, очень хочется подучить тебя кое-чему, у меня ведь еще есть «желтые» мысли и «коричневые», такие, что я сама их боюсь. Но есть одна мысль без всякого цвета, и я ее тебе скажу. Если ты теперь по каким-то причинам перестанешь любить отца, то, значит, ты дрянная девчонка.

Наташа вскинула глаза, но взгляды их не встретились. Разминулись.

— Я не жалею, что пришла к вам. Честное слово!

— И я не жалею. Я мечтала тебя увидеть.

Но по-прежнему стояла спиной.

— Я пойду?

— Конечно. Иди.

— Спасибо вам. Я буду думать обо всем.

— Да, конечно, думай...

— Простите, я вас ничем не обидела?

— Меня? Чем? Какие глупости...

Еще мгновение они постояли молча.

— Я знаю, твою маму зовут Люба. А как отчество?

— Петровна, как и ваше.

— Значит, от очень разных Петров мы родились.

— До свидания.

Она не ответила.

## 5

## БАЛЛАДА О СТРИЖЕНОМ ЗАТЫЛКЕ!!!

Вот так, крупными буквами я вижу эти слова на плакате или на афише. Буквы должны быть правильно печатными, а над ними справа моя фамилия, опрокидывающаяся назад всем строем букв. А потом зал, ревущий и стонущий, а я кричу в микрофон под ахающий ритм ударной установки. Зал свирепеет и с последним моим криком взламывает стены и обрушивается на город беспощадной, но очистительной грозой.

Это, конечно, бред. И ничего такого я вовсе не хочу. И злоба, что сотрясает меня, она бесплодна.

Я ненавижу стриженые затылки у мужиков. Еще точнее, я ненавижу мужиков со стрижеными затылками. Это опознавательный знак их касты, касты прохвостов, карьеристов, гэбистов, капээсэсовцев, и если кто-то из них сегодня подделывается под эпоху, то затылок он все равно выстригает по-старому и не подозревает при этом, что именно сзади просматривается сущностью своей. Боже, как мерзки эти затылки! По степени их выстриженности я сужу о качестве холуйства хозяина. Самые гнусные — это те, что выстрижены до самой макушки. Как я недавно узнал, такая прическа когда-то называлась «полубокс». Название, по-моему, совершенно бессмысленное, если не считать, что действительно на старых кадрах кинопленки у боксеров тех времен были именно такие затылки, тупые и злобные. Но спортсмену-профессионалу длинные волосы — помеха. Они и сейчас так стригутся, и я спортсмена с аппаратчиком не путаю, как не путаю мальчишек, демонстративно выстригающих себе полголовы, чтобы оставшуюся часть волос вздыбить под девизом: я у папы полудурок!

В большинстве случаев форма стрижки затылка — мировоззренческая категория. Стриженые затылки имеют свою географию. В районах центральных площадей они — сплошняком! Рядами! Из дверей в двери! Впереди галстук, сзади затылок. Чем длинней галстук, тем выстриженнее затылок. Лиц у них нет. Бесполезно всматриваться. Ослепительная выстриженность превращает их в блины с рельефом. У некоторых усы. Маскировка под человека. Или исключительно для баб. Пощекотать! Не могу вообразить, о чем они разговаривают между собой, десять — пятнадцать затылков с галстуками! Если говорят, то врут друг другу, потому что каждый в холуйском подполье и себе на уме. Главное — не раскрыться полностью, не обнаружить себя!

Мой первый опыт столкновения с «затылком» — он на всю жизнь в памяти. Это был преподаватель обществоведения в десятом классе. Меня трясет всякий раз, как вспоминаю его.

Холеный, выбритый, выстриженный, с галстуком ниже пояса, всегда расстегнут пиджак, одна рука в кармане брюк, другая постоянно в многозначительном жестикулировании, она вещает, его рука, то ладонью вверх, то в сторону, то вдруг превращается в указующий перст и втыкается тебе в лоб и словно прошибает его до затылка, а ты тупеешь, тупеешь и выдавливаешь из себя слова подлые и холуйские. Приходя в класс, он усаживался за стол и обводил нас всех таким взглядом, от которого меня лично тошнило. Этакий мудрец перед толпой безнадежных остолопов! В его науке не было ни слова правды. Правды в том смысле, когда что видим, то и говорим и называем: черное — черным, белое — белым.

Обществоведение! Ведение общества! Куда? В страну холуйства! Один холуй врал, остальные лениво заучивали, чтобы кое-как отчитаться перед «ведущими» в том, что они готовы подыгрывать им в общенародном спектакле.

Он, этот вещун, любил, когда кто-то отвечал, отходить к окну и стоять в позе мыслителя, и тогда его затылок представал во всей красе выстриженности. На уровне шеи волосенки словно обрубленные или обрезанные, а выше до самого затылка, неровного и шишковатого, этакая архитектурная лесенка.

Я мечтал снять с него скальп. «Ах ты, сукин сын, бледнолицый лгун,— почти шептал я, превращаясь в Чингачгука,— я познакомлю тебя с искусством моего томагавка!»

Я мечтал убить его. Но так, чтобы он остался жив и помнил, что я убил его и могу убить его, когда захочу! Или отрезать ему язык, эту штуку, посредством которой он производит лживое колебание воздуха, а от колебания возникают всякие слова и смыслы, в которых нет правды, а одна только пакость.

Я хотел, чтобы он меня ненавидел. Но он только презирал меня, а я его презирать не мог, а мог только ненавидеть, и это тоже было больно.

«Молодой человек, когда вы последний раз расчесывались?» — спросил он однажды. «Тогда, когда вы первый раз брились»,— ответил я, и весь класс хохотал. А он хоть бы что, подлец, он всех нас держал за недоумков. Мы часто пытались показать ему, что мы тоже что-то, но бесполезно! Он оценивал нас только по степени нашей готовности повторять ту чушь, которую он нам вдалбливал в наши нестриженые головы. Были зубрилки или ловкачи, те, что пытались и умудрялись возвращать ему его собственные слова — слово в слово. Тогда он подозрительно щурился, прежде чем поставить «пятак», словно сомневался в способности нашей понять ту наукоподобную галиматью, что именовалась «обществоведением».

Потом, после школы, я уже был ловок в обнаружении близнецов нашего школьного «долбилы». Они были везде, и сейчас они есть везде — среди противников нынешних событий и среди тех, кто слюной исходит на трибунах, вещая о новых временах. Но я, повторяю, ловок. Я не слушаю слов, я смотрю в затылок. Смотрю как выстреливаю — вычеркиваю из бытия, и никто, ни старорежимный «комуняка», ни свеженький «демократ», не заставит меня размазаться в орущей толпе. Я сам по себе, и мои волосы уже до плеч, хотя, черт побери, почему-то секутся последнее время, и это неприятно. Раньше не секлись...

По закону подлости не включилась фонограмма, когда я был не совсем в форме. Сорвал голос и стал никто. В один день. Совсем никто. Потому что единственное, чему я научился в жизни,— это орать в микрофон и доводить до балдения моих сверстников. Я нашел такой ритм, от которого пьянеешь, хорошо пьянеешь, не по-дурному, когда бычья страсть в глазах, а когда одна только радость обще-

ния. Мои песни были похожи одна на другую, но зато отличались от всех чужих. Меня справедливо любили, потому что я любил всех еще больше. Но мое горло меня предало. Если бы не Жорж, я бы сломался. Он, конечно, темный мужик, и пока мне его не понять, а может, и не нужно. Но он нянчился со мной, как с ребенком. Потом сказал: «Петь больше не будешь. И не дергайся. Нужно учиться чему-то другому. Скоро будет драка. Учись драться». И сунул меня в школу каратэ. Я себе сказал, если тренер стриженый, не пойду. Но он оказался космачом вроде меня. А когда Жорж сделал для меня шестую статью и я мог плевать на все военкоматы, будь Жорж трижды темный, я его должник по гроб жизни. Часть долга он потребовал.

Я постригусь, все равно волосы секутся, и поеду в роли «девятки» со старым «комунякой», я буду стараться, буду терпеть и молчать и не удавлю эту партийную гниду, хотя уверен, что таких просто передавят, если они сами не удавятся.

Гад, которого я должен буду пасти, выстриг свой затылок еще при Сталине и с тех пор добросовестно выстригался при каждом новом правителе. Сперва он изводил мужиков в Сибири, потом по всей России, потом прыгал по разным министерствам в роли погонялы, заполз в Кремль и окопался при «бровастом» под самым его боком. Пришлось проштудировать его биографию...

У гада красивая жена, много моложе его. Жорж показал мне ее издали, чтобы узнать при случае. Вообще здесь какая-то история с переплетениями, без которой необъяснима заинтересованность Жоржа в судьбе старого партийного зубра. Мне плевать! Моя задача — вмазаться в ситуацию и выполнить свою роль, за что будет заплачено по самому высокому тарифу.

На все это я, конечно, решился не сразу. В моей роли есть что-то сучье, во всяком случае, мои вчерашние друзья осудили бы меня, но вчерашние друзья — не сегодняшние. И вообще, Жорж, пожалуй, верно сказал, что надо научиться жить одному, чтобы потом успешно жить с кем-то.

Все, что говорит Жорж, правильно процентов на восемьдесят, но он как бы оставляет тебе всегда процентов двадцать на сомнения. Для спора этих двадцати недостаточно, а для сомнений — самый раз. С ним всегда соглашаешься и к себе при этом остаешься с уважением. Как это ему удается? Ничего не навязывать и всегда добиваться своего. Умный он или хитрый (это ведь не одно и то же) — разве отделишь хитрость от ума? Я спросил его напрямую. На восемьдесят процентов он убедил меня, что умный, а на двадцать позволил думать, что всего лишь хитрый.

Если бы тот школьный козел по обществоведению вел себя так же умно, кем бы, интересно, я был сегодня? Какой-нибудь интерфронт создавал? И получается, что свобода — чушь, а мое сознание — продукт обстоятельств. Один глуп и оттолкнул, другой умен и привлек. Удавиться можно от таких выводов!

В детстве — и это длилось довольно долго — меня оскорбляло, что я должен каждый день есть, и даже три раза в день, а потом, именно потому что ем, вынужден совершать физические отправления, мерзкие и унизительные. Маму мою, добрую и тихую, как я обижал ее, ведь чем вкуснее она готовила, тем я больше кривился, потому что не хотел зависеть от каких-то щей, каш, салатов; я презирал еду и себя презирал, жадно тянувшегося к тарелке, и мамину руку с поварешкой, как лапу дьявола, соблазняющего меня на что-то низкое и постыдное. Был бы отец, снял бы ремень да оттаскал как следует — сошла бы дурь. А мама обижалась, как маленькая девочка, у нее сразу вспухали губы, а глаза делались такие круглые и беззащитные.

Потом, когда повзрослел, другое началось. Сначала девчонки, потом женщины, и зависеть от них было еще противнее, чем от еды. Влюблялся в одних, а пользовался другими. Обижал и тех и других.

Вот по этому поводу поделился мыслями с Жоржем. Хотел удивить. Он долго ползал вдоль своих книжных полок и наконец сунул мне в руки Толстого, «Крейцерову сонату». Классиков терпеть не могу еще со школы, Толстого — больше всех. Через пару дней все же раскрыл корочку. Тягомотина еще та! Но до середины все же осилил. Понял, что не я один на свете с завихрениями. Стало спокойнее, и решил, что первым делом, когда снова доберусь до дома, то буду изо всех сил нахваливать мамины обеды и ужины, чтобы она сияла и краснела, как всегда краснела, если ее хвалили.

Моей группе удалось дважды прорваться в телеящик. Маму предупреждал заранее. Она написала, что я красивый, но что, может, не надо так трясти головой! Ее кумир — шаромордый Лещенко. Ей не нужно меня понимать, если поймет, ей будет больно.

Все бы ничего, но опять снится, что пою. При этом делаю невозможные кульбиты на сцене. Зал бесится от восторга. Какие-то девчонки начинают раздеваться, рвут на себе тряпки и тянутся ко мне, а я... Вот ведь штука! Приятелю запросто рассказал бы, а на бумагу не кладется. Что это? Ханжество? Несвобода? Или, может быть, когда на бумагу, то стыднее...

А вот еще к вопросу о стыде. Я же и в школьной самодеятельности пел. Нормально. Как все дети. Потом начал сочинять. Потом группа наша. И ведь сначала так, без особого успеха. Однажды на репетиции, опять же балагуря, что-то сделал со своим горлом, какой-то одной мышцей напрягся, аж со спины шею слегка свело, и получился необычный звук, если честно, нечто среднее между блеяньем барана и ржанием лошади, а вся банда заорала: «Давай вот так! Потрясно!» И дал! И начал! И на первой же тусовке успех обалденный.

А вот теперь, когда больше не пою... У меня же был голос что надо, сверху донизу в полрояля. Но почему стыдно было петь нормальным голосом? Почему ломал его и выпендривался? Сейчас могу спокойно ответить на этот вопрос.

Это все они, «комуняки»! Стриженые затылки! Они все обгадили, все человеческое как дерьмом вымазали коммунистической брехней. Даже обычные слова: любовь, родина... Даже голос человеческий опохабили и превратили в инструмент пропаганды. Ведь что с мозгами случается, когда, к примеру, нормальный баритон где-то со стороны? Я же морщусь. Мне противно. Что бы он ни пел, я во всем слышу: «Партия — наш рулевой!» Или тенор... А у меня перед глазами этакий толстенький, стрижено-прилизанный, с холуйскими глазками вырисовывает, как по лекалу: «Вижу чудное приволье!» А в зале на передних рядах и в ложах мордовороты. Довольные! «Это русское раздолье, это вотчина моя!» И ладошками: хлюп, хлюп! Продолжай, дескать, проверенный ты наш, мы учтем твое коровье усердие и правильность репертуара!

«А вот фигу вам!» — говорю я и, выкручивая горло, хриплю и реву, и слова такие, чтобы как по морде, чтоб сразу поняли и в сомнении не пребывали,— плевать я хотел на власть вашу, краснобилетчики! Я буду хрипеть и орать, пока вам рожи ваши самоуверенные судорога не перекорежит. Моя воля, я бы вообще пел не по-русски. На английском, например. «Язык свободы!» — говорит Жорж. А почему бы нет? Был же французский в прошлом веке языком культуры. И что же мы за народ такой? Мне уже даже не обидно...

А как скрежещут зубами и плюются, глядя на нас, стриженые затылки! Я это видел! Мы им — кость в горле, потому что уже не ихние. Мы кричим и изгаляемся над их культурой холуев и лакеев. Мы...

Но я уже больше не «мы»... Я в ауте! Хитроумный Жорж Сидоров (во потеха!), требующий, чтобы его называли только по имени, как в Европе, мой спаситель и благодетель, пристроил меня к замшелому стриженому затылку, пожелавшему посетить места своего детства и отрочества. Жорж говорит, что это моя школа. Что врагов надо знать и понимать. Что борьба требует квалификации. Что поэтому мне надо постричься.

Я выберу самую гадкую забегаловку-парикмахерскую, самую толстую и тупую бабищу и позволю ей уродовать мою голову, как ей вздумается. Буду смотреть в зеркале на толстые пальцы и прощаться с самим собой.

## 6

Сборы в дорогу, действо вроде бы и нормальное и необходимое, тем не менее всю квартиру превратили в вокзал. Что-то без конца доставалось, перекладывалось, рассматривалось, швырялось на стулья, терялось, находилось и снова терялось. И гомон, словно квартира полна людей, а было всего трое, причем дочь рта не раскрывала, но лишь бесшумно передвигалась вслед за матерью из комнаты в комнату и тоже действовала на нервы этим подчеркнутым молчанием и какой-то многозначительностью во взглядах, которые кидала время от времени то на мать, то на отца.

Наверное, впервые так раздражали Павла Дмитриевича слова и поступки жены. Что-то чужое и противное появилось в ее движениях, интонациях голоса, в жестах,— она почему-то все время взмахивала руками, запрокидывала голову и закатывала глаза, и не говорила, а либо пищала, либо шипела и вообще была похожа на курицу.

— Люба,— краснея от раздражения, тихо говорил он,— ты соображаешь, что делаешь? Где это, интересно, я должен появиться в таком виде, в английской тройке. Я еду в деревню, понимаешь, в деревню, где лают собаки, мычат коровы и где грязь после дождя по колено!

— Ну, это ведь, Павлуша, смотря какая деревня. Во многих местах уже...

— Я прошу тебя, Люба, перестань суетиться! Ради Бога, прекрати! Есть же у нас что-нибудь попроще, скромнее. Я обычный человек, я не должен ничем выделяться, и убери, прошу тебя, убери этот идиотский галстук, мне вообще не нужен галстук, а эти носки, ими петухов дразнить!

Уловив обиду в глазах жены, Павел Дмитриевич махнул рукой, ушел в кабинет и закрыл за собой дверь. Не хлопнул дверью, но закрыл. В адрес жены он ни разу за всю жизнь не хлопнул дверью, не было ни причин, ни оснований, не было их и сейчас, ведь понимал ее беспокойство, оно нормально, но раздражение не покидало его, потому что в основе его было недовольство собой. Он не нравился себе в эти суматошные часы сборов и не мог достаточно сосредоточиться, чтобы хладнокровно проанализировать ситуацию, выявить подлинную причину раздражения и таким образом избавиться от этого унизительного состояния быть не самим собой.

После его ухода, все же достаточно резкого и демонстративного, Любовь Петровна некоторое время стояла, опустив руки, посередине захламленной гостиной, обводя взглядом вещи и предметы и машинально продолжая держать в руке, по ее мнению, совершенно нормальный галстук для светло-серого костюма и светло-голубой рубашки. Подошла Наташа, взяла у нее из руки злополучный галстук, у двери своей комнаты обернулась, сказала тихо:

— Папа собирается в народ, как в глубокий рейд по тылам противника.

Брови Любови Петровны вздрогнули, на мгновение было двинулись к переносице, но тут же спокойно разошлись и распластались над ее повлажневшими глазами, как крылья птицы в свободном парении.

— Ты сказала что-то дурное, да? Почему?

— Разве? По-моему, я просто пошутила. Вы оба такие странные сегодня... Не узнаю вас. Его особенно...

— Посещение... Ленинграда как-то повлияло на узнавание?

Наташа подошла к ней, тронула за руку.

— Мам, ты следишь за мной? Как это тебе удается?

Любовь Петровна мягко привлекла ее к себе, провела рукой по волосам, поцеловала розовеющее ушко, поправила воротничок блузки.

— Можно сказать так: «следишь», а можно по-другому — «беспокоишься»... И согласись, мое беспокойство ты не ощущаешь?

— Мама, я ведь не глухая и не слепая. Я читаю газеты...

Любовь Петровна указательным пальцем коснулась ее губ.

— Сейчас не время для серьезного разговора. Вот проводим его и поговорим... Но для размышления напомню тебе одно слово, старое русское слово, ты можешь найти его в любом словаре. Чернь! Попытайся понять смысл этого слова, представь его содержание, конкретно... Может быть, даже в лицах...

Наташа чуть отстранилась от матери, опустила глаза.

— По-моему, мама, это грубое слово. Опасное...

— Опасных слов не бывает. Бывают мысли опасные, рискованные. Но если есть слово, то есть и его содержание. Конкретное...

— Я понимаю, что ты хочешь сказать. Чернь и папа. Наверное, мне было бы легко начать так думать. Но...

Любовь Петровна снова привлекла ее к себе и гладила по головке, как ребенка.

— Конечно, я беспокоюсь о тебе, но, знаешь, я в тебе уверена. Ты ведь нас любишь, меня и папу. Сейчас тебе придется помучиться, но потом в твоей умной головке все встанет на свои места, и ты на все вопросы ответишь так мудро, как я тебе и объяснить бы не сумела.

Наклонилась к самому уху дочери и прошептала:

— Придет время, и ты еще и мне выжить поможешь своей любовью и мудростью.

Обе они вздрогнули от этих слов, словно сырой сквозняк дохнул в лицо.

— Поди и сыграй что-нибудь светлое. Поди! Это нужно. Играй и думай о том, что я тебе сказала.

— Папа и чернь? Да?

— Да. Папа и чернь.

Наташа стояла. Потом вскинула глаза, влажные, как и у матери.

— Мама, он ведь не струсил? Не испугался?

— Когда уходил?

— Да.

— Девочка моя, я не разбираюсь во всяких социологиях, но вот это самое — чернь — я так понимаю, что это то, во что люди превращаются время от времени. Вчера еще люди, а сегодня чернь, а завтра, может, снова люди. Чернью управлять нельзя. Она безумна. И справедливость ее безумная. Черни нужен не управитель, а правитель, такой же безумный и злобный. Чернь будет пожирать самое себя, пока не подавится. Тогда снова настанет время спокойных и мудрых правителей. Безгрешных не бывает. Но грешник и безумец — это разное. Это очень разное.

Наташа вдруг кинулась матери на шею, обняла ее так крепко, что они обе покачнулись на миг, теряя равновесие. Любовь Петровна лишь руку чуть отставила назад, оперлась о край старинного комода, где едва слышно пропел тревогу изысканный заказной хрусталь.

— Мама, я так хочу тебе верить и думать как ты и все понимать как ты.

— Ты будешь лучше меня,— твердо сказала Любовь Петровна.— А сейчас, пожалуйста, поиграй!

— Я буду играть Грига.

Наташа совсем по-детски чмокнула мать в щеку и убежала в комнату, откуда тотчас же послышались аккорды из «Пер Гюнта».

Любовь Петровна достала из кармана кружевного халатика серебряную пудреницу, вскрыла ее, торопливо прошлась по лицу, неудовлетворенная своим видом, сердито сунула пудреницу в карман и встревоженно посмотрела на дверь кабинета Павла Дмитриевича. Ей показалось, что пауза его отсутствия противоестественно затянулась, и

уже не на шутку обеспокоенная, она подошла к двери и тихо приоткрыла ее. Павел Дмитриевич спал на кушетке в такой позе, в какой как бы случайно прилег на нее. Проявилась удивительная его способность в минуты крайнего нервного напряжения мгновенно засыпать, если позволяли условия. В этой его способности Любовь Петровна видела залог долголетия и здоровья, и разве не чудо, если организм выключает сам себя как раз тогда, когда у большинства людей именно в таких случаях мучительная бессонница, затем головные боли и дурное настроение, нездоровый цвет лица и работоспособность ни к черту. А он, ее муж, через час поднимется и будет бодр и уверен в себе, и уверенность свою благодатно распространит на всех, кто в том нуждается.

Уже спокойно Любовь Петровна подошла, поправила думку под головой мужа, нежно коснулась губами его лба. Не боялась, что разбудит. Как правило, это бывал короткий, но крепкий сон, и, наверное, потому, что весь организм действительно выключался, а сны ничего тягостного в своих фантазиях не воспроизводили, он, муж ее, в минуты такого сна был как-то по-особенному красив, таким, должно быть, он задумывался Богом, но увы! Жизнь есть дуэль с сатаной, и как не исказиться чертам, даже самым благородным, если постоянно обязан следить за острием шпаги противника.

К месту или не к месту вспомнился Жорж, и лицо Любови Петровны озарилось счастливой улыбкой. Конечно, она тоже помнит Жоржа во сне. Он бывает похож на измученную дворняжку, обретшую случайный ночлег. Если бы положить их вот так рядом спящих, сфотографировать, а потом фотографию показать Жоржу,— поубавилось бы его самодовольства.

От последнего посещения Жоржа осталось двойственное впечатление. Он старел и дурнел по часам. Особенно неприятны были его пожирневшие плечи и пальцы с неопрятными ногтями. Они все время пребывали, его пальцы, в каком-то бессмысленном движении: то барабанили по столу, то чесали нос, то дергали мочку уха, то ластились к расползающейся по всей голове лысине, то тянулись вперед и, короткие от природы, вдруг вытягивались, и тогда Любовь Петровна отстранялась машинально, потому что ей казалось, что прицеливаются они к ее груди, а всеми прочими маневрами лишь отвлекают внимание, чтобы уловить момент и вцепиться в ее тело с жестокой похотью.

Но было и другое, более тревожное. Жорж, как всегда, хвастался своими успехами, и если раньше Любовь Петровна либо пропускала мимо ушей его болтовню, либо уставала и бесцеремонно прерывала его, то теперь болтовня Жоржа всерьез озадачила ее. Он поминутно сыпал именами, которые были на слуху, он склонял эти имена в таких падежах, какие ей были знакомы давно, это были падежи власти или по меньшей мере влияния, ей ли, жене функционера, ошибиться в определении! К тому же в ее присутствии он несколько раз отвечал на звонки, речь шла об изданиях, тоже застолбившихся уже в общественном сознании, и причастность, даже некая волевая причастность Жоржа из разговоров высматривалась определенно, хотя и двусмысленно.

Жорж и власть — это рассмешило бы ее еще год назад, но теперь это было не смешно, а тревожно и еще как-то так, что нечто подобное ревности или обиде проковыривалось в душу, отчего можно было заплакать, имей Любовь Петровна слабость к такому способу реакции на неприятное.

Тогда же отметила, что и квартира Жоржа обрела какое-то новое лицо, трудно определимое, но намекающее на некую новую социальную значимость ее хозяина. В квартире появился порядок. Не в смысле чистоты или уюта и вообще порядка в обычном бытовом смысле, но изменилось как бы само целевое назначение жилплощади. Раньше здесь было место для ночевки бродяги и развратника. Теперь — это что-то вроде резервного прибежища человека, нацелившегося на рывок.

Рабочий стол, за которым Любовь Петровна ни разу не видела Жоржа работающим, был теперь не просто завален текущей печатной продукцией, но эта продукция была определенным образом отсортирована. Вырезки с пометками разнузданного почерка Жоржа тоже бросились в глаза при беглом осмотре. А главное — нигде ни единого следа женщины. Истина, не ею сформулированная: только политика, только соблазн власти, только шанс власти способен застегнуть прореху штанов прирожденного бабника. Взрывная сублимация... это она вычитала или сама придумала?

Позже, возвращаясь от Жоржа, Любовь Петровна говорила себе: если такие, как Жорж, тянутся к власти, другими словами, если на место Павла Дмитриевича придет Жорж Сидоров, что в общем-то маловероятно, но если такому суждено случиться, то отрезвление ныне беснующейся толпы ускорится во времени и усугубится раскаянием в беснования. Жорж обанкротится быстро. Не нужно будет даже марать руки о самозванцев, толпа сама расправится с ними. А вот ускорение — оно очень нужно... Ведь семьдесят четыре года — это не пятьдесят четыре, как у того выскочки, чья физиономия уже третий год не вылезает из экрана телевизора.

Говорят, в последнее время телевизоры взрываются. Еще бы!

Странно, однако же, чем более недоброго против Жоржа накапливалось в душе, тем настойчивее было желание не терять его из виду. Да чего там! Просто хотелось его видеть! Опять же ревность, возможно... Хотелось проверить свою власть над ним. Было такое мгновение, подумалось: а что, если подойти к столу и смести с него одним движением газетный хлам, потом дернуть шнур телефона, встать напротив и потянуться, как это она умела, по-женски и по-кошачьи одновременно, и глянуть на него, чуть-чуть тронув губы полуулыбкой и подпустив туману в глаза! Да не на час выключить его из бесовства, а на сутки или двое... Последнее, положим, невозможно было до сих пор. Но с отъездом мужа...

Но нет. Сегодня не до игр. Сегодня Жорж — просто друг, откликнувшийся на зов. Все придумалось в полчаса. Жорж гарантирует, и ему можно верить. Павел Дмитриевич, ее любимый супруг, может спокойно спать, а потом спокойно ехать будто бы один в свое детство, коли уж оно позвало его. Как знать, может быть, действительно нужна эта поездка, побег в народ. Не он первый. Толстой тоже, помнится, куда-то бежал, и еще кто-то из знаменитых, сразу не припомнишь...

Любовь Петровна взглянула на часы, прикидывая, когда примерно может проснуться муж. Наташа в своей комнате продолжала играть. Теперь это уже был не Григ, а Шопен, она, как всегда, увлеклась, ушла в себя и будет играть, пока что-то не вмешается извне. Поразительно! Она могла играть по четыре, по пять часов подряд. Впрочем, может быть, и дольше, просто не приходило в голову проверить ее выносливость...

Уедет Павел, думала Любовь Петровна, вплотную займусь дочерью. С ней нужно много говорить. Мы оба совсем мало с ней говорили, вот и выросла молчунья.

В этот момент музыка смолкла. Любовь Петровна и Наташа одновременно появились в гостиной. Обе услышали визг входного селектора, домофона.

— Это я, Валя. Любовь Петровна, я просто мимо шла, ничего не нужно по дому?

— Нет, Валюша, спасибо. Ты же сегодня отдыхаешь. Мы же договорились.

— Ну да, конечно. Это я так просто... На всякий случай. Тогда до свидания!

— До свидания, Валюша!

— Завтра в восемь я буду.

— Хорошо.

Любовь Петровна злорадно смотрела в микрофон селектора.

— Забеспокоились! Куда это собрался наш отставник! Холуи переметные! Наташенька, давай-ка, пока папа спит, соберем все, что нужно, и поставим мужчину перед фактом полного и замкнутого чемодана! Мужики, дочка, никогда не способны предусмотреть всего, что им может понадобиться в дороге. Спроси его: «Что самое главное?» Гаркнет: «Бритву и тапочки», а потом будет стоять и напрягаться всеми извилинами, а про носовые платки, например, все равно не вспомнит.

Обе они бесшумно заскользили по комнатам, и через некоторое время объемный немецкий чемодан удовлетворенно щелкнул четырьмя сверкающими замочками-застежками. Любовь Петровна попробовала его на вес, нашла вполне приемлемым для переноски, слегка пригибаясь под его тяжестью, отнесла в прихожую. Потом они сели в кресла за журнальным столиком и смотрели друг на друга, счастливые и любящие.

— Знаешь, мама, когда я просилась, чтобы он взял меня с собой, я надеялась, что он не согласится, и обрадовалась, когда не согласился.

— Тогда зачем?..

— Боялась. И хотела и боялась.

— Чего?

— Я знаю, тебе тоже не по душе эта затея. А мне что-то страшно.

Наташа куснула губу, отвела взгляд. Сказала почему-то шепотом:

— У меня действительно такое ощущение, что там, везде, куда он едет,— там кругом наши враги. Ну, может, не враги, просто там все нас не любят... Должны не любить... Неправильно?

Любовь Петровна с удивлением и тревогой смотрела на дочь.

— Это неправда. И неправильно. И вообще странно, что ты можешь так думать. Слушай, расскажу, была такая история в моей молодости. Покупала я платье у одной театральной подруги. Платье было — мечта! У нее и у меня были трудные времена. Но у нее было платье. И оно мне было очень нужно. А ей нужны были деньги. Она хотела как можно дороже его продать, а я как можно дешевле купить, потому что половину денег заняла практически не подо что. Мы долго с ней торговались, улыбаясь при этом и отпуская друг другу комплименты. Потом мы навсегда возненавидели друг друга. Она была уверена, что уступила мне за мои комплименты, а я считала, что она ободрала меня, пользуясь моим неумением торговаться. Как думаешь, кто из нас был прав?

Наташа решительно замотала головой.

— Мама, эта твоя история никакого отношения не имеет...

— Имеет. Как раз имеет. Мы обе были правы, потому что ей не хватило денег, чтобы отправить своего отца на лечение, а я на несколько лет залезла в долги и неизвестно, на сколько сократила себе жизнь душевной паникой. А ты — это тебе вывод или мораль, как хочешь,— ты как моя дочь должна сочувствовать мне, и только мне, и сочувствием своим помочь мне в моей правоте. А ей пусть помогут любящие ее люди. И это первая истина жизни. А вот если ты попытаешься быть объективной, то никого счастливее не сделаешь, зато сама превратишься в кукушкиного подкидыша, потому что ничьего субъективного сочувствия не заполучишь, когда тебя саму припрет жизнь.

Наташа сидела, закрыв лицо руками.

— Ох, мама, боюсь, что тебе раньше надо было позаботиться о моем понимании жизни.

— Скажи честно, Наташа, та женщина, в Ленинграде, она как-то повлияла на тебя? Ты через нее что-то поняла, да? Что-то изменилось в тебе?

Было в голосе Любови Петровны нечто, отчего сердце Наташи дрогнуло сочувствием и мгновенно преисполнилось нежностью к ней. Однако она не вскочила с кресла, как требовало ее дрогнувшее сердце, но лишь спокойно встала, неторопливо обошла журнальный столик, подошла к матери и мягко обняла сзади, уткнувшись губами в ее всегда чудно пахнущие волосы.

— Об этой женщине, мама, ты думать не должна.

Фразу нужно было понять так: я люблю только тебя, и никто не способен, если бы даже захотел, повлиять на мою любовь в дурном смысле.

Любовь Петровна так и поняла и легким прикосновением руки к руке дочери поблагодарила ее.

— Она много что говорила,— продолжала Наташа,— даже очень страшное говорила, я не все поняла, но, по-моему, она уже слегка не в себе... Странно... Я никак не могу себе объяснить... Понимаешь, в чем-то вы все похожи... Такие разные и похожие... Это странно и... немного страшно...

— Кто это «все»?

— Она, ты, папа. А я будто глупая Золушка среди вас, таких умных, знающих и сильных. Подожди, это не все! Зато есть еще некто другой, кто умеет быстро, мгновенно все примирять во мне.

— Господи! Кто еще? — почти вскрикнула Любовь Петровна, пытаясь освободиться от вдруг окрепших объятий дочери.

— Успокойся! Не «кто», а «что». Музыка. Это вот так бывает: иногда впереди меня, передо мной возникает угол, острый, опасный, злой! Он может мне сделать больно... Тогда я начинаю играть, и знаешь, что происходит? Оказывается, что углу совсем не хочется быть углом! Я освобождаю его от напряжения, и он на моих глазах начинает облегченно и радостно разгибаться и превращается в овал, такой мягкий и добрый, и я могу гладить его рукой и даже щекой прикоснуться! Ты не понимаешь, да?

— Ну, положим. Объясни проще.

Наташа чмокнула мать в щеку, радостно, по-детски рассмеялась.

— Вот видишь, есть кое-что, чего и ты не понимаешь, и папа не поймет, а та женщина и подавно! Знаешь, какая моя главная мечта в жизни? Никогда ничем не заниматься, кроме музыки. Всю жизнь прожить и ничем не заниматься! Только играть и играть! Если бы это было возможно, я была бы первым человеком на земле, кто прожил полностью счастливую жизнь!

Павел Дмитриевич появился в гостиной посвежевший и, как всегда в таких случаях, немного смущенный.

— Надо же! Я заснул! Лег и заснул. Да еще так крепко спал, как провалился или, наоборот,— взлетел.

Взлетевший Павел Дмитриевич — это был еще тот образ! И мать с дочерью хохотали, и лица всех троих были радостны и чисты.

## 7

Хорошо ехать! Хорошо ехать никуда. Просто передвигаться в пространстве и к пространству не испытывать никаких чувств и обязательств. Я никому ничего не должен! Ведь вот вроде бы и ранее всегда ощущал себя свободным, но, оказывается, нет, не было свободы, потому что висели обязанности, может быть, не столько навязанные, сколько вынужденные. Обязан был хорошо учиться, признавать старших, обязан был определяться в жизни, чтобы что-то значить в ней...

И вдруг состояние, когда ничего! Свобода! Хочется на какой-нибудь шумной станции высунуться в окно по пояс и прокричать: «Люди, имейте в виду, я вам ничем не обязан и ничего не должен! И вы мне тоже! Мы свободны и, может быть, можем совсем неплохо жить!»

Вздор, конечно! Но иногда надо такое испытывать — ошалелость от полной свободы.

Мой бедный стриженый затылок мерзнет. Бабуля оказалась права. Я наткнулся на забегаловку-парикмахерскую, где скучали двое: девчонка с животом вперед и глазами навыкате и бабушка, которая этак лет сорок назад подстригала начинающих боксеров. Девчонке я не доверился. У ней были подозрительно красивые руки. А вот руки бабушки были что надо! Не сомневался, что картошку она чистит аккуратнее, чем стрижет. Когда плюхнулся в кресло, она растерялась.

— А что вы хотите?

— Полубокс.

— Если в армию, то туда надо под машинку.

— Почему в армию? Не собираюсь. Хочу полубокс.

— У вас такие хорошие волосы,— мямлила она,— а полубокс сейчас никто не делает...

— Но вы-то,— подмигнул я ей со значением,— обязательно умеете полубокс. Танец вальс, прическа полубокс, сапоги в гармошку!

Она засмеялась и ничуть не обиделась.

— Зачем же такие волосы обстригать? Вам они идут. Может, чуть подправим?

— Нет,— заявил я категорически.

— Тогда давайте сделаем «молодежную», а то затылок будет мерзнуть, имейте в виду.

— Откуда знаете?

— В войну обстригали однажды. От вшивости. Тоже лето было, а затылок мерз, пока волосы не отросли.

Когда обрезались мои космы, девчонка тоже подошла, посмотрела на меня изуродованного, сказала: «Дурак!» — и исчезла за спиной.

Бабуля возилась со мной долго. В итоге получилось нечто вполне приличное и аккуратное. Я стал похож на Павлика Морозова и Олега Кошевого. Заплатил хорошо, и она, очень смущаясь, взяла. Девчонка с белыми руками проводила меня презрительным взглядом.

Вообще, должно быть, существует в жизни такая добрая закономерность: когда добросовестно готовишься к худшему, все оказывается чуть-чуть лучшим.

Старикан, которого мне навязал Жорж, не храпел, и это было уже счастье. Не навязывался на разговоры и, похоже, более всего был рад, что я сам не пристаю к нему с расспросами. Мы обменялись самой пустяковой информацией — кто и куда. Я, как было договорено, назвал станцию дальше по курсу, он даже не слышал о ней, потому что спросил, где это. Я пояснил: «Значит, мы земляки»,— сказал он и, кажется, испугался своей фразы, решил, что я начну расспрашивать, и, ей-Богу, полюбил меня за отсутствие любопытства.

Наверняка его портретная рожа попадалась мне где-нибудь, но не узнал бы. Мужик как мужик. Но я заставляю себя помнить каждую минуту, кто передо мной. А передо мной враг народа! Не вымышленный, не состряпанный энкэвэдэшниками, а подлинный и неисправимый.

Вопрос современным историкам на засыпку: в человечестве, наверное, еще никогда не было такого народного правительства, как у нас? Я имею в виду — по происхождению. Все вчерашние головастики когда-то вышли из самых что ни на есть низов. Каждый из них до какого-то момента своей биографии был представителем народа, а с какого-то превращался во врага народа, то есть принимал решения или выполнял решения, приносящие народу беду и страдания. А вот и суть вопроса: как могло получиться, что самое народное правительство по происхождению являлось самым антинародным по существу? Разве не загадка? А в каждом конкретном случае, что происходит с психикой человека, мужика из деревни, положим, вот этого самого, что напротив? Какой сдвиг? Ведь ему ли не знать, что мужикам надо, но давил же свое сословие, войной шел против него, и задавил, и лежит сейчас с книжицей, мемуары какого-то фон Бюллова почитывает, и ни в одном глазу раскаяния! Вот ведь какая дивная порода людей выросла в нашем милом государстве!

Теперь едет в родную деревню, которую по-родственному душил. Едет и не боится. А чего бояться? Народ изничтожен, остались одни колхозники. А им лишь бы водку жрать да при случае друг другу морды царапать. А перед таким вот холеным да важным стелиться будут. Гордиться, что такой сталинский сокол из их гнезда вылетел.

А как бы в другие времена, когда еще на Руси народец водился. Встретили бы, спросили почтительно: хлеб отбирал? людей губил? Ну, так пожалуйте, ваше партийное сиятельство, вон на тот столбик, а веревочку мы в момент сообразим и намылим, как положено.

Может, и верно, что народ наш рабской психологии, как Жорж говорит?

У мордастика красивая жена. Жорж сказал — бывшая актриса. Она многозначительно взглянула в мою сторону, проходя в купе. Я стоял у окна напротив. Дочка тоже симпатичная, но мимо меня прошла, как будто сквозь. Наверняка уже упакована для какого-нибудь сынка. Сословие! Но, похоже, они еще не подозревают, что они сословие проклятых, что ходят по земле только потому, что мы им это позволяем, что если б мы руководствовались их милой теорией классовой борьбы...

Но тут я все-таки вру. Мне лично совсем не хочется ничего такого. Я их презираю и удовлетворяюсь этим. Потому что сам чист, как новорожденный. Я еще ничего не успел сделать такого, над чем можно ломать голову: прав или не прав. Я чист и потому могу быть снисходительным ко всем стриженым и полустриженым затылкам. Вот если бы на мне висела хотя бы частичка соучастия, тогда, возможно, я рогом бы пер, изничтожая более виноватых, чтобы очиститься. Но я чист! Я ничего не успел, потому что мои родители некоторое время не хотели ребенка. Слава им, вовремя не хотевшим и захотевшим именно тогда, когда пришло время чистого поколения! И тут Жорж врет! Я, по крайней мере, уже не раб, и все поколения, что после меня...

Мой сосед боится выходить из купе. Вообще боится выходить. Я просто балдею от восторга, когда наблюдаю, как он начинает сопеть, поглядывать на дверь, ерзать. Ему надо в туалет. И куда денешься? Когда уже никуда не денешься, он наконец встает, открывает дверь и выглядывает. Мне страшно хочется чего-нибудь крикнуть в этот момент, чтобы он дернулся... Но я лежу с книжкой и делаю вид, что ничего не замечаю. Когда он возвращается, морда у него невыразимо довольная, точно подвиг совершил, и заговорить со мной не прочь, но я упорно изображаю из себя скромника и молчаливого молодого человека, которому есть о чем помолчать.

Домашние заготовки его жены мы слопали в первый же день. Я долго отказывался, потупясь, но уступил просьбе доброго человека и принял участие в его трапезе. Ели мы оба очень культурно, постоянно протирая пальчики специальными салфетками, что были приложены к каждой куриной ноге и к каждому пирожку.

Утром следующего дня, уловив, как мой головастик поморщился от чая, настоянного на вторяках, я предложил податься в ресторан и позавтракать, чем общепит пошлет. Согласие было дано с нескрываемой радостью. Организаторами поездки все было продумано до мелочей. В поезде всего три вагона СВ, билеты были взяты именно в тот, что рядом с вагоном-рестораном. И все же я почти стелился ковриком, когда пересекали единственный тамбур.

Ресторан был полупуст, и мой старикан сразу же втиснулся за крайний стол спиной к прочим посетителям.

Ему повезло. Вместо обычных тошнотворных щей нам предложили солянку. Еще взяли бефстроги. Я видел, с каким изумлением он рассматривал коронные поездные блюда, как пробовал,— ничего не скажешь, умеет сдерживаться мужик — ни разу не поморщился.

А вообще, если честно признаться, я как-то своеобразно хмелею, когда наблюдаю за ним. Он же лишь вчера оттуда, из Кремля. Он не я и не мы. Пришелец, уничтожав-

ший и создававший созвездия. А мордой похож на нас, потому что в маске. Так бы и дернул за нос! А что открылось бы? Что-то хищное и звериное? А может, другое — лампочки, датчики, кнопки? Робот высокоорганизованной структуры? А может, я оттого балдею, что он в моей власти? Взять за пуговицу да и сказать ему, кто он и что я о нем думаю. Инфарктнулся бы старик.

И еще... я поймал себя на том, что жду, когда он начнет вещать. Жду, как чего-то гнусного, словно оправляться начнет в моем присутствии. Ведь он, в сущности, емкость, заполненная партийным бредом, и этот бред функционирует в его организме, как кровь. Бред его тоже красный. Что поделаешь, не воспринимаю я его как нормального человека, а ненормальность его слишком сложна для моего худого умишка, оттого то злобой вскипаю, то... робею и чувствую себя погано...

У него наверняка таких проблем нет. Он-то уж уверен, что мы — самые, самые, потому что он сам — самый, а язык наш великий и могучий, если им разговаривал Ленин, и они, борзомордые, меж собой и с народом на этом же языке говорят...

Но когда он со мной говорит о чем-либо, у меня такое впечатление, что он каждую фразу сперва мысленно переводит на русский с какого-то другого языка, на котором такие, как он, общаются, когда их никто не видит и не слышит, как блатные на своей фене.

Вот! Понял! Додумался, кто они такие. Они воры в законе. В государственном законе. Паханы! Правда, если честно, то Жорж тоже очень смахивает на пахана. А я, как ни крути, и тут и там — шестерка. Мелочь! Когда пел, такого не чувствовал. Наоборот, иногда будто крылья за спиной во всю глубину сцены и даже банды своей за спиной не чувствуешь. Только я и они, те, что напротив, и лес рук, взметнувшихся в ритм моего рева. Никакой алкоголь не способен давать такой кайф!

Ну, не дурак ли! Рву себе душу, а надо бы вычеркнуть все это из сознания. Так ведь и повеситься можно... И банда моя... так торопливо они со мной расстались. И Зинка, стерва гитарная...

...Ну вот, наконец-то случилось! Пахан пошел на беседу. Осторожненько, куда, мол, еду и чего на месте не сидится. Я неторопливо выдал ему отработанную с Жоржем туфту. Тошно стало добру молодцу топтать окурки по Арбату, прослышал, что можно землю взять на подряд и коровушек с чушками, а потому и спешу внести свой вклад в решение продовольственной программы, чтобы культурным людям в столице нашей великой Родины было чем закусить в перерывах между умственным напряжением.

Как он засиял! Его жена от зависти скрючилась бы, увидев, каким влюбленным взглядом он смотрел на меня к концу моей немногословной исповеди. Вот же суки! Изобрели ловушку для дураков. Давайте, энтузиасты, хватайте работенку, чтоб с утра до ночи, а то ведь колхозннчки совсем обленились, обнаглели, расхамились, не желают союзнички пролетариата кормить его передовой отряд! Вы же, энтузиасты, истосковались по землице, мы вам вашу тоску удовлетворим, стричь будем культурнее, чтобы хоть на хвосте клок шерсти оставался для разводу!

Засуетился старикан, засиял весь, руками стал взмахивать, вещая мне о том, как важно, чтоб человек был заинтересован в труде, и так-то уж возлюбил меня, что весь масленый стал от пальцев до ушей. Я тут и подкинул ему по сценарию, что, мол, беспокоюсь, не будет ли мне препятствий в энтузиазме в той дыре, куда еду. Мгновенно пахан мой изобразил многозначительность взгляда и предложил свое содействие моему патриотическому намерению, если я сойду с поезда станцией раньше и направлюсь в те места, куда он едет сам и где, как я должен уже понять, у него есть некоторая возможность помочь мне в устройстве моих благородных дел. Я проявил заинтересованность, согласился подумать над его предложением и выключился из разговора, чем явно не обрадовал старика, потому что он настроился на продолжительный разговор про героизм честных тружеников и про свою любовь к ним.

А на меня снова накатило! Неприятное и унизительное состояние! Злость вызревает где-то под сердцем, ей-Богу, чуть ли не в желудке, это почти физическое состояние, и потом я чувствую, как эта вызревшая злость поднимается, проходит мимо сердца, по крайней мере, я сердцем ничего не ощущаю, где-то у горла она скапливается, меня почти тошнит, и вдруг в голову, в виски, в затылок, перед глазами какие-то мелкие-мелкие точки, и, наверное, лицо начинает краснеть (ни разу не видел себя в зеркале в такой момент), но я чувствую прилив крови к лицу и ушам, а челюсти уже сжаты, и пальцы рук напряжены, словно в любую минуту готовы вскинуться кулаком и сокрушить что-то или разбрызгаться кровью в бессилии сокрушения.

В этот раз причиной злобы было чувство тупика. Как ни крутись, как ни мудри с выбором местечка в жизни, это все равно только местечко, крохотная точка, как шлюпка в море, а кругом — стихия, и ты всегда в дураках. Самое последнее, что сделал бы я в жизни,— это пошел пахать в деревню. Я только поиграл словами по сценарию, но представилось, что вдруг вправду бы поехал, а какие-то паханы рассматривали бы меня в лупу, как букашку, ползающую по земле, и пальчиком меня то влево, то вправо, то — раз!— перстом перед носом, а я бойцово топорщу фальшивые крылышки и мечусь в обход препятствия!

Где же укрыться, чтобы и жить интересно, и чтоб сам по себе, и за спиной ничьего дыхания руководящего?

Почти в истерике я перебираю всякие варианты жизнеустройства и не нахожу. Везде я пешка и объект приложения чьих-то сил, фантазий и интересов. Я сижу, тупо уставившись в книжку, а злоба на жизнь кипит и пенится в моих мозгах и грозит взорвать глаза мои изнутри, выплеснуться на страницы книги ядовитой желчью и прожечь их до корочки, до моих колен.

Получается, что я ненавижу жизнь и при этом понимаю, что так жить нельзя. И умирать я вовсе не собираюсь.

А может, я просто зажрался? А для избавления от хандры мне нужно попасть в ситуацию, когда жизнь окажется в опасности. Если еще проще — нужно хорошенько испугаться однажды, так, чтобы смерть жарко подышала над моим затылком. Перед смертью все трусы. А пережив трусость, буду я меньше воображать о себе?

К примеру, взять бы да придушить «комуняку», что сидит напротив меня с таким выражением на морде, словно его только что оттащили от бабы и он не отошел от балдения. Он же настроился на рассуждения о радости труда, а я взял и отключился. Пусть бы меня приговорили к расстрелу, а потом помиловали.

Но душить мне никого не хочется, старика — тем более. Пусть живет, паразит, и пусть кто-нибудь другой плюнет ему в морду. Я же на договоре с Жоржем и по этому договору обязан опекать и оберегать старикана от жизненных неудобств и возможных дорожных хлопот и осложнений. Мне заплатят!

## 8

Утром этого последнего дня пути Павел Дмитриевич проснулся от какого-то резкого внешнего шума, возможно, встречный поезд затянул до шестого вагона приветственный свисток, возможно, это был какой-нибудь другой, нетипичный для дорожного движения звук, но он встревожил очнувшееся сознание, и Павел Дмитриевич лежал некоторое время с закрытыми глазами, сосредотачиваясь мыслью на предметах, обдумывание коих прервал вчерашний вечерний сон. Уже через минуту-другую спокойствие и хорошее настроение разомкнули его веки, и он, пожалуй, несколько резковато поднялся, брезгливо отшвырнув

от себя вылезшее из пододеяльника затертое и замусоленное одеяло.

От резкости движения что-то хрустнуло в позвоночнике, и тупая боль поясом обхватила грудную клетку, слегка прихватив дыхание. Такое случалось не впервой, и нужно было всего лишь терпеливо посидеть без движения, и боль отпускала тело. Павел Дмитриевич замер полусидя-полулежа, расслабился. Артема в купе не было, уже ушел умываться пораньше, пока не возникла очередь. Первые два утра Павел Дмитриевич поступал точно так же, вставал практически первым в вагоне и спешил в туалет, чтобы не толкаться в тесном проходе или, хуже того, спешить с туалетными процедурами, заведомо зная, что все равно пересидит положенное время и, выйдя, столкнется с враждебными взглядами ожидающих своей очереди.

Сегодня, однако, никаких таких тревог не испытывалось, и вообще, робость и беспокойства всякого рода ушли, испарились или отступили куда-то далеко, а им на смену пришло то, что самыми простыми словами именуется хорошим настроением. Оно хорошее — и все! И никаких комментариев.

Не было более ни малейших сомнений в том, что решение о поездке — точнейший ход в целях постижения происходящего в стране. Из Москвы нужно было уехать, и уехать далеко, и теперь с каждым промелькнувшим километром изменялся масштаб московской бессмыслицы. Происходило не уменьшение его, а как бы ограничение, то есть вырисовывались границы бедствия, за которыми, хотя и без резкого перехода, но все же явственно проступала полоса своеобразного нейтралитета, где проявлялись лишь результаты бедствия, но не оно само.

В ресторане, в коридоре вагона, на остановках люди говорили, говорили нарочито громко, словно специально для того, чтобы он расслышал каждое слово. Он слушал.

Граница, отделяющая бедствие от результатов, была хрупка и ненадежна, она, как дырявая плотина, пропускала сквозь себя вонючие потоки смрада, но все же пока это были только потоки, а нечто противостояло им и сопротивлялось. Сравнение с плотиной, как любое сравнение, было весьма хромоногим, но было в нем обнадеживающее начало, как первый существенный пункт профессиональной квалификации объекта изучения, как важнейший момент диагноза, по окончательному установлению которого немедленно вычертится рецепт исцеления.

Удачно придуманное сравнение готово было продолжиться целой системой образов и символов и породить некие, уже вполне конкретные ощущения и стремления, например, подняться сию же минуту с постели крепким, могучим и широкоплечим, сделать шаг и спиной подпереть плотину сопротивления, а затем, упираясь ногами, а руками сцепившись с другими, такими же крепкими и понимающими, сдвигать плотину к центру, сужая пространство зла и распада, загоняя его в ту исходную точку (в Кремль!), откуда он выполз и выплеснулся на страну. Загнать и удушить в его собственном зловонье. А когда превратится в студень, аккуратно спустить в канализацию через какие-нибудь боковые ворота Кремля.

Ведь было уже так однажды. Тухлым студнем вывалились поляки из Кремля. А смута была покруче нынешней.

Однако во всем таком образе мыслей было что-то неподобающее, не по возрасту, и Павел Дмитриевич снисходительно усмехнулся как бы сам себе, тем более что все неприятные ощущения в теле прошли, будто их и не было, и он торопливо стал убирать постель.

Безусловно, ему повезло в самом главном. В попутчике. Страшно подумать, какие могли быть варианты. Он ведь исключительно из упрямства отказался закупить купе целиком. Риск был ненужный и напрасный, следовало бы даже и постыдиться... Но все обошлось наилучшим образом. Даже имя мальчишки, с которым свела его судьба, было чем-то близко Павлу Дмитриевичу. Впрочем, почему «чем-то»? Артем, если память не подводит, какой-то друг Павки Корчагина. А ведь когда-то он небезуспешно «работал» под своего тезку, кое-кем это даже подмечалось, Надеждой, к примеру. Подражание, разумеется, было весьма односторонним — всегда был здоров и здоровья своего не стеснялся, а, напротив, любил демонстрировать и силу и выносливость, но слишком напрягаться не любил. Не к тому готовил себя.

Спокойное, не по годам серьезное отношение Артема к жизни, его действия и движения, лишенные суетливости, которая так всегда раздражала в некоторых, иногда даже хороших людях, и масса других положительных качеств, воспитанность хотя бы, то есть уважение к старшим, готовность выслушать совет и трезво обдумать его,— много ли всего такого встретишь у людей даже с должным жизненным опытом! Сосед по купе был для Павла Дмитриевича олицетворением всего того, что осталось еще в государстве неопошленным и не тронутым тлением.

Его, этого нетронутого человеческого материала, по-видимому, осталось еще в достаточном количестве, потому что поезда еще ходили, и даже без особых опозданий, пища производилась, поля зеленели, где им было положено зеленеть, и особенно деревни, что проплывали за окном,— такую мудрость и спокойствие источали они, что можно было бы обернуться назад, в сторону ополоумевшей Москвы, и улыбнуться с таким особым значением, от которого, докатись эта улыбка до кремлевских проходимцев, вытянулись бы их физиономии в страхе и тревоге.

Нет, не мог Павел Дмитриевич жалеть о предпринятом шаге, но мог гордиться своей интуицией, что подсказала ему единственно верный шаг-поступок, который виделся теперь искуснейшим обходным маневром, не замеченным противником и еще не оцененным завтрашними союзниками...

— Как чувствуете себя, Павел Дмитриевич? — спросил Артем, войдя в купе.

Павел Дмитриевич улыбнулся приветливо, закидывая на шею полотенце, точь-в-точь как это обычно проделывал его спутник.

— Рискнул бы сказать — великолепно, но ведь это сущее хвастовство — говорить такое в моем возрасте. Освежусь и в последний раз посетим пищеблок, именуемый рестораном. Так?

— Посетим. Сегодня там будут вчерашние, но хорошо подогретые биточки.

— И мы съедим их за милую душу! — торжественно заверил Павел Дмитриевич.

Когда ожидаемые биточки, подогретые, правда, только с одной стороны, были поданы, на свободное сиденье плюхнулся некто весьма возбужденный, с газетой в руках.

— Чо творится, мужики! — прошептал он радостно и таинственно.— Смотри, кто полетел! Это уже который по счету?

Он ткнул пальцем в газету. Поскольку интерес проявил только Павел Дмитриевич, газета была сунута ему под нос, а палец с грязным ногтем тыкал и тыкал в одно место, в заголовок левой полосы.

Все случилось одновременно: прочиталась фамилия, перед глазами возникло лицо, в памяти — обрывок последнего разговора. Когда он состоялся? Два месяца назад или ранее?

— ...за мной, если хочешь, партийные кадры профессионалов-хозяйственников,— говорил этот человек, комкая в руках салфетку,— не тебе объяснять, что это такое. Это актив! Это работники, а не демагоги!

Кустистые, седые брови, подтянутые к самому верху лба, разом упали на глаза, полуприкрыли их и придали лицу свирепое выражение.

— Меня так просто со счетов не сбросишь! Я, в отличие от него, не отстраиваю дачу на благодатном Причерноморье! У тебя, кстати, тоже поместьице дай Бог...

Эту фразу Павел Дмитриевич не хотел вспоминать, но она не могла не вспомниться, ибо именно она сделала невозможным намеченный разговор по душам. Фраза была произнесена с подлянкой в голосе и была несправедливой по сути, потому что дача, о которой шла речь, строилась по санкции Совмина и никакие параметры не нарушались.

А этот, все-таки вышвырнутый теперешним Первым за дверь, постоянно кокетничал своим бескорыстием, чем раздражал не одного Павла Дмитриевича. Не помогло. Ничего не помогло. В итоге баланс сил наверху резко нарушился. Неизбежен сдвиг влево, и это плохо, потому что слева только пропасть. Но, возможно, нет худа без добра. Решительней и скорей произойдет консолидация конструктивных сил...

Сразу после возвращения необходимо тщательно выщупывать эти силы, а в том, что они или уже есть, или очень скоро появятся, сомнений не было. Перехватить страну у самого края пропасти...

Новый сосед по столу жаждал беседы и даже не жаждал биточков, о которых Павел Дмитриевич забыл, а теперь пытался догнать Артема, заканчивающего завтрак.

— Мужики, ей-Богу, аж пятки горят, в какое время живем! И ведь ни одна падла не подскажет, чего делать-то! Может, чего хватать пора, а чего, не знаю! Не приходилось. Но чую, что уже хватают! Слышите, мужики, хватают, нутром чую! Обидно же потом будет, когда все кончится, а в руках, кроме собственного члена, ни хрена!

Павел Дмитриевич даже поморщиться не успел, как болтун схватил его за рукав, зашептал азартно:

— А может, самое время коммунистам бошки откручивать да в мешок складывать для отчетности?! Ты пять открутил, а я — бац шесть и обошел тебя на повороте!

Павел Дмитриевич почувствовал, как кровь словно испарилась с лица, и от сухости кожи задергались лицевые нервы. А мужик уже выставил вперед свои огромные ладони и загоготал на весь вагон.

— Шучу! Это такая — черная шутка называется! Я прошлой осенью котят утопить не мог, племянника послал, он их враз в бочке ухлебал, как пос... сходил. Куда уж мне-то бошки откручивать! Чо побледнел? Партийный, поди? А я, ты чо думаешь? Я с тысяча девятьсот шестьдесят восьмого членские плачу! А за это опять же, кроме члена, ни хрена!

Снова загоготал. Схватил из тарелки кусок хлеба, куснул.

— А все равно обидно! Что-то плывет мимо, густо плывет, но, кажись, шибко быстро, глаз не успевает усечь... Другие, те усекут! Это уж точно!

Павел Дмитриевич умоляюще взглянул на Артема. Тот спокойно поднялся, хлопнул мужика по плечу, сказал доброжелательно:

— Не шурши! Ничего хватать не надо. Жди, скоро задарма раздавать будут. Мешок приготовь, чтоб без дырок.

Павел Дмитриевич выжался из-за стола и поспешил за Артемом к тамбурной двери.

И в купе еще долго не мог прийти в себя, елозил по постели, словно искал что-то, и лишь бросал косые взгляды на соседа, открывшегося ему какой-то новой стороной, и переполнялся воистину отеческой благодарностью. Потом сказал:

— Страшный человек!

Артем ответил, не повернувшись даже:

— Безобидный мужик. Врет он все. Котят как раз утопит. А жену едва ли побьет. И что партийный, тоже врет. Это тип такой. Распространенный.

— Вы так уверенно это говорите...— пробормотал вконец растерявшийся Павел Дмитриевич.

— Насмотрелся на таких.

Нет, Павел Дмитриевич не согласился со своим соседом. Он просто добрый парень и не знает еще, какие фокусы способен выкидывать русский человек, когда он без царя в голове. Не пережил такого. Павел Дмитриевич пережил. Кулацкая дробь, не выковыренная уездным врачом, и по сей день сидит в его теле, в мышцах и сухожилиях. Он не ощущает ее присутствия, но не забывает о ней. Такое нельзя забывать, если не хочешь однажды оказаться под прицелом обреза. Человечество склонно к вражде и взаимоистреблению, и мудрость политика состоит в том, чтобы упреждать развитие дурных инстинктов и своевременно изымать из общества лиц и структуры, разносящие микроб бешенства.

Человек за столом поездного ресторана, без сомнения, поражен смертоносным вирусом, и вторично, добр он или зол. Если зол,— это завтрашний убийца, если добр — подстрекатель и провокатор. Власть, не профилактирующая болезнь общества,— преступна. Действия против такой власти — моральны.

Павел Дмитриевич чувствовал, как что-то в нем выкристаллизовывается, еще не вполне осознанное, но безусловно верное и безальтернативное. Нервным напряжением последнего часа он словно обрел способность обозреть все это необъятное государство, понять явное и неявное в нем и ощутить, осознать ответственность свою, личную, за все, что происходит и может произойти прямо на глазах в случае его, опять же личного, попустительства.

Заколебался, не слишком ли беспечно распорядился временем? Поездка его... При всей продуманности шага, так ли уж верен этот шаг? Не вернуться ли в Москву немедля? В конце концов, что ему эта деревня, одна из тысяч? Может быть, следует четко определиться относительно личного и неличного в побудительных мотивах этой поездки?

А с другой стороны, разве когда-нибудь в его жизни личное противоречило государственному?

К тому же никогда не следует пренебрегать возможностью без ущерба для главного своего дела свершать дела повседневные, частные, к примеру, обещал он помочь устроиться своему дорожному другу и должен это исполнить во что бы то ни стало, потому что, наконец, ради таких вот людей, завтрашней опоры государства, он прожил свою жизнь и еще проживет, сколько будет отпущено провидением. Их благом будут продиктованы все его действия и поступки.

Чего греха таить, не однажды искусственно разрывалось неразделимое: благо государства и благо его граждан...

Тут Павел Дмитриевич вступал на рыхлую и вибрирующую почву, ибо давно понял, что в системе рассуждений о благах всегда присутствует некая ловушка, западня, в которую с неизбежностью попадает всякий, чьи благонамерения не удостоверены соответствующей практикой. У практики государственного служения своя логика, она куда как менее симпатична в сравнении с логикой рассуждений на ту же тему, потому следует благоразумно оставлять кесарям кесарево, тем более что кесари мысли никакой ответственности в истории не несут, такова уж их вольготная доля. Через сто лет некто скажет доброжелательно: товарищ ошибался! — но ошибку эту все равно будут изучать, конспектировать и комментировать, потому что она, дескать, подвиг человеческой мысли. Абсурд!

— Судя по времени, нам пора собираться.

— Значит, решились?

— А чего ж,— Артем усмехнулся,— если есть возможность избежать бега с препятствиями... Только чтоб вам не было накладно...

— Мне не будет накладно,— самодовольно заявил Павел Дмитриевич и устыдился, потому что нечаянно одной фразой словно продемонстрировал всю свою стать, не физическую, разумеется, но ту, что олицетворяла его место в жизни вчерашней.

Напрасно Павел Дмитриевич пытался взять свой чемодан. Артем категорически отвел его руку. Вообще уже не впервой случалось пасовать перед этим парнем. Порази-

тельная самостоятельность, исключительно органическое достоинство — это в двадцать-то лет!

Из вагона выходили почти последними. Впереди проталкивался Артем с чемоданом и огромной сумкой через плечо, за ним сконфуженно семенил Павел Дмитриевич, временами совершая какие-то нелепые движения, словно то ли чемодан хотел подхватить, то ли Артема поддержать, было ему немного стыдно, но много приятно.

Артем спрыгнул с подножки, отошел чуть в сторону, выбрав участок почти сухого асфальта, видимо, только что был дождь, поставил чемодан и сумку и ринулся было на помощь своему попутчику, поскольку тот не слишком уверенно преодолевал ступеньки, но был внезапно оттеснен двумя мужчинами в плащах и шляпах, опередивших его и в то же мгновение чуть ли не снявших Павла Дмитриевича с последней ступеньки.

— С прибытием, Павел Дмитриевич, так сказать, на родину предков, на землю сибирскую! — торжественно продекламировал, широко улыбаясь, и без того широколицый человек, снимая шляпу и едва не выдергивая кисть в крепком пожатии.

— Простите, вы кто, собственно? — пробормотал ошеломленный Павел Дмитриевич.

— Я второй секретарь обкома Кондаков Игорь Иванович, мы с вами встречались, вы, конечно, не помните, нас было много, но мы вас помним и ценим.

Второй, что стоял сбоку, тоже широколицый, в очках, повыше ростом, слегка потеснил говорившего и перехватил освободившуюся руку гостя.

— Председатель облисполкома Щукин Андрей Ильич. Мы тоже с вами...

— Вас помню,— буркнул Павел Дмитриевич, справляясь с внезапно подступившей одышкой. Теперь глаз его ухватил нечто знакомое во всей ситуации: группа людей, как бы образовавших коридор от вагона к вокзалу, и две черные «Волги» со шторками на задних боковых, и любопытствующая толпа по бокам «коридора»... И в стороне Артем, удивленный или озадаченный...

Щукина Павел Дмитриевич действительно вспомнил. Из второго уровня его когда-то двинули на периферию с ориентацией на возвращение в Москву, но что-то он не проявил себя должным образом и застрял в исполкомовской номенклатуре. Сохранившееся впечатление о нем было положительным.

— Позвольте, но откуда вы узнали...

Оба загадочно рассмеялись, а Кондаков сказал, подмигнув:

— Этот секрет мы вам откроем позже, а сейчас, Павел Дмитриевич, вам ничего не остается, как вписаться в нашу программу, но, само собой, любое ваше желание для нас закон. Здесь, у нас, в Сибири, пока еще советская власть и никакой другой.

— Что ж, тронут,— сказал взволнованно Павел Дмитриевич,— не ожидал, конечно...

И с каким-то особым значением сам пожал руки обоим.

— Есть одно обстоятельство...

— Да,— с готовностью откликнулся Кондаков.

— Со мной едет один замечательный молодой человек. Я имею в виду, в мою деревню едет. И я обещал помочь ему кое в чем.

Все трое они повернулись в сторону Артема. Его ничуть не смутило это внимание, он продолжал стоять в непринужденной позе между сумкой и чемоданом, и ничего, кроме спокойного ожидания, не было на его лице.

— Никаких проблем,— поспешно отреагировал предисполкома.— Его определим в гостиницу. Вам же надо отдохнуть пару дней после дороги, так ведь? Ну, а потом организуем все остальное. Так что не беспокойтесь.

Проговорив все это, Щукин подозвал кого-то из стоящих сзади, что-то прошептал ему, тот ринулся к вокзалу, потерялся из поля зрения Павла Дмитриевича, снова возник в сопровождении еще одного, такого же делового, и вдвоем они направились к Артему. Павел Дмитриевич не мог допустить подобной бесцеремонности по отношению к своему дорожному ангелу-хранителю и, раздвинув всех, подошел первый.

— Видите, как получилось,— сказал он несколько сконфуженно,— меня встречают. Но в наших с вами планах ничего не меняется. Все будет, как наметили. Только небольшая коррекция программы.

— Как скажете,— отвечал Артем с той прямодушной интонацией в голосе, которая уже с первых минут знакомства была по достоинству оценена Павлом Дмитриевичем,— теперь мне надо за вас держаться, так получается.

И он улыбнулся замечательной улыбкой славного парня, знающего о жизни и людях то главное, из чего возникает и складывается взаимопонимание.

— Тогда до встречи,— сказал Павел Дмитриевич, протягивая руку и отмечая про себя, что не помнит, когда в последний раз имел за столь короткое время столько приятных рукопожатий.

Когда вывернули на привокзальную площадь, машин оказалось уже не две, а четыре. В одной из них увозили в гостиницу Артема, расстаться с которым так быстро намерения не было, и Павел Дмитриевич не без удовлетворения отметил про себя, что сумел чисто по-человечески полюбить этого парня, что будет скучать и испытает радость при следующей встрече с ним.

А теперь... Он расслабился на сиденье, чуть-чуть откинул голову и закрыл глаза. Раньше это был понятный всякому сопровождающему знак того, что он, весомый, хочет побыть один на один со своими мыслями и просит не беспокоить его разговорами не по существу.

Ничто не изменилось, знак был понят, и Кондаков, второй секретарь обкома, почтительно отодвинулся к дверце машины.

Можно было и сейчас потребовать ответа на вопрос, откуда стало известно о приезде, но можно и не спешить и подумать о другом. Разумеется, как бы ни был тронут вниманием областного начальства Павел Дмитриевич, он даже в тот момент взволнованности встречей сообразил главное: это не просто встреча бывшего цекиста, кстати, почти ни разу не имевшего прямого контакта с проблемами данного региона. Ясно, что это не просто встреча, но сознательное действие, и более того, судя по кортежу автомобилей, это — демонстративное действие, рассчитанное на то, чтобы быть замеченным. Возможно ли сейчас, сидя в машине, вычислить тех, кто демонстрирует, и тех, кто должен заметить демонстрацию? Едва ли. Павел Дмитриевич напряг память, пытаясь вспомнить фамилию Первого, назначенного сюда совсем недавно вместо ушедшего на пенсию многолетнего шефа области Сальнова, которого хорошо знал. Фамилия, что никак не вспоминалась, лишь раз попала ему на глаза в газете, извещавшей об очередном психозе кадровых перестановок.

— А что ваш Первый? — спросил внезапно, не открыв глаз.

— Шустов-то?

— Ну да, Шустов.

— В Москве. Похоже, у нас не задержится. Очень его любит Генеральный.

И это отметил Павел Дмитриевич. Фамилия Генерального осталась за кадром. Прием известный. Нейтральная постановка вопроса, если не считать интонации. А ее-то как раз и нужно считать. Что ж, не болтун, и это уже что-то. Впрочем, Второй по старым меркам, в сущности, никто, если он не на перспективе. И вообще, не слишком ли расчувствовался. Профессионализм политика в умении во всех ситуациях сохранять дистанцию уровней, в том непременное условие должного отношения к себе. Уровень, с которым он помимо своей воли вошел в контакт, на несколько порядков ниже. Но в смутные времена, подобные

нынешнему, гораздо важнее уловить, понять принцип движения уровней...

— И куда мы сейчас?

— В баньку, Павел Дмитриевич! Куда же с дороги, как не в баньку!

Загадки не было. Ехали на обкомовскую дачу. Все как обычно. Загадка была в другом. Кто будет на ужине?

Мысли обо всем этом и даже, чего скрывать, некоторое беспокойство ранее были бы немыслимыми, ибо все свершалось и обеспечивалось само собой. Всякий человек мог появиться только там, где мог, у каждого было свое место, и о соблюдении порядка в этом смысле болели головы у других. Он же сейчас словно без тыла и прикрытия вышел на действие, и повышенная уязвимость обязывала к бдительности и внимательности.

Два дня спустя помолодевший на десять лет (так он сам определил) Павел Дмитриевич отправлялся в родную деревню. Дорога предстояла неблизкая. На прощальном завтраке из шумного общества первого вечера присутствовали только четыре человека. Кроме Кондакова и Щукина — любитель смертоносных банных температур командующий военным округом генерал-лейтенант Захаренко и язвенник и трезвенник редактор областной партийной газеты Горин.

Как представлялось, единственным перспективным человеком из всей областной команды выглядел второй секретарь Кондаков. Так или иначе, в разговорах выяснилось, что у него есть ходы в высшие структуры, даже несколько параллельных ходов, что существенно уточняло его личные возможности. Добродушие его оказалось кажущимся, а главным достоинством было уменье собрать вокруг себя людей, которые нигде в другом месте не собрались бы, и дирижировать их взаимоотношениями в интересах дела.

Предисполкома Щукин — обычный исполнитель, желающий быть замеченным и могущий быть полезным, не более.

Генерал — тот посложнее. Зол, упрям, то есть способен портачить, но не прост и много умнее, чем может показаться по первому впечатлению.

Горин... О нем у Павла Дмитриевича четкого мнения не сложилось. Может быть, именно потому он и намекнул о своем желании видеть его на прощальном завтраке. Уже успели поведать, что совсем недавно с трудом удалось замять скандал с его женой, оказавшейся после пятнадцатилетней супружеской жизни весьма легкомысленной особой. Для Павла Дмитриевича такая информация значила много. Если человеку на должности изменяет жена, то непременным недостатком его, как работника, является неумение разбираться в людях, и, как следствие, предрасположенность к ошибкам с трудноопределимыми последствиями. Но именно этот кривоглотый язвенник высказывал неординарные мысли. Особенно одно соображение нашло должный отклик у Павла Дмитриевича.

— Партии,— говорил Горин,— в традиционном смысле давно уже нет...

Генерал Захаренко, его постоянный оппонент, уже не впервой упрямо замотал бритой головой.

— ...партия — это символ, знак, если хотите, человека управления. Наша система управления — тот же петровский табель о рангах. Я как-то подсчитывал, и что? Их, этих рангов, было примерно столько же, что у нас... А на самом низу партийная среда, откуда вербуются кадры. Другого источника поступления кадров нет. По пустяковому тесту человек принимается в партию, то есть получает шанс... Если он его не использует, то все равно пожизненно существует в среде конструктивного государственного мышления.

Отсюда — поскольку вне партии управленческих кадров нет, то ликвидировать партию невозможно без того, чтобы не уничтожить государственность как таковую. Но государственность, она же неуничтожима, как материя.

Тут, помнится, угрюмо вмешался Кондаков:

— Вашими устами да мед пить...

— Да нет же, в самом деле,— продолжал Горин,— до сих пор в аппарат не пришел ни один человек со стороны, потому что этой стороны просто нет. И вот что я вам скажу: мы, провинциалы, прозевали борьбу за власть! Там, наверху, в Москве, какая-то часть партии рвется к власти, только и всего! И чтобы получить эту власть, они готовы назваться кем угодно — реформаторами, революционерами, даже реставраторами. Только последнее — чушь! Я имею в виду реставрацию капитализма. Невозможно реставрировать то, чего нет в памяти живущих поколений.

Бестактность по отношению к Павлу Дмитриевичу в последнем высказывании отметили все, и сам говоривший спохватился, взмахнул руками и рот было открыл для оправданий, но Павел Дмитриевич великодушным жестом остановил Горина.

— Для того, чтобы что-то прозевать, необязательно прозябать в провинции. Но вы элементарно нелогичны. Нынешнему Первому не было нужды бороться за власть, он и так имел ее в полноте. Нынче же он теряет ее с каждым днем и однажды останется у разбитого корыта, если не случится с ним нечто худшее.

Тут началась долгая перепалка, не всегда по существу, и ничего интересного более сказано не было. Но один, возможно даже, случайный проговор Горина отметился в сознании. В сущности, ведь история развивалась или свершалась именно тогда, когда распускалось государство, то есть система управления, чтобы освободить место новой системе. И называлось это однозначно — революцией! Все свершалось быстро и принципиально. И воистину сегодня главное — правильно обозначить происходящее. Борьба за власть — это не серьезно. Реставрация? Тут Горин, пожалуй, прав. Реставрировать нечего. Смута? Это слишком литературное понятие. Что остается? Революция?! А в роли революционеров — Политбюро ЦК КПСС?! Это даже не смешно.

Вспомнилось, у Тютчева — умом Россию не понять. Интересно, а что бы этот Тютчев посоветовал сегодня ему, Павлу Дмитриевичу Клементьеву, многолетнему члену ЦК КПСС, заведовавшему важнейшим отделом в этой верховной структуре управления Россией! Но тем и отличается человек культуры от человека власти. Высказался — и гордо в сторону! Мы, дескать, вещаем, а не ответствуем!

Павел Дмитриевич не обольщался относительно своей культурной ориентированности. Люба частенько изящно щелкала его по носу. Не раз порывался он углубиться в ту или иную сферу культуры, но всякий раз, обнаружив необъятность этой сферы, отчаивался, потому что жизнь, увы! коротка, и он не имеет права красть время у того дела, к которому призван. Еще Надежда приучила его к регулярному чтению, потому все необходимое из классики было им прочитано и перечитывалось даже без насилия над собой и с несомненной пользой — при необходимости мог вести разговор языком героев Толстого и Тургенева, что и было не однажды подмечено теми, на кого хотел произвести должное впечатление.

Но люди, щеголявшие своей культурной осведомленностью, раздражали его, это раздражение он часто фиксировал и бывал недоволен собой. Но позволял себе иметь некоторые, скажем, нетипичные мнения на сей предмет. К примеру, такое: культура — это как лес осенью. Красотища! Дух захватывает! Но следующий этап что? Гниение, распад, умирание. Если бы под таким углом рассмотреть историю, не откроется ли зловещая закономерность: взрыв культуры — гибель эпохи! Разумеется, ему и в голову не приходило высказаться подобным образом, но ведь думалось же, черт возьми!

Если же в связи с этим допустить, что нынче мы стоим перед неизбежностью исторического катаклизма, и если учесть к тому же прогрессию событий, они просто наступают друг другу на пятки,— то тогда не срабатывает тот признак, который предполагался из сравнения культуры с

осенней природой. Никаким культурным взрывом не пахнет, если не брать в соображение бредни отдельных интеллигентов. Скорее наоборот! Люба, к примеру, не раз говорила о позорном кризисе театра. Ни одного сколько-нибудь великого имени за последние два десятка лет.

Так, может быть, все-таки не катаклизм, а всего лишь перетасовка? Ах, как важно это понять! Если перетасовка, то, глядишь, достаточно хорошенько по столу кулаком...

Прощальный завтрак проходил так, как и был задуман,— без деловых разговоров.

Генерал Захаренко сидел угрюм. В прошлый раз ему так и не дали выговориться партийные умники, он мог обидеться, потому и оказался за этим столом. Он единственный, кто пытался возобновить разговор о «преступном штурме армейских устоев», но никем поддержан не был и теперь сердито шевелил бровями и тыкал вилкой в салат.

Предисполкома Щукин во всех разговорах этих двух дней в основном соглашался то с одним, то с другим и лишь однажды, когда Павел Дмитриевич поинтересовался личностью шефа госбезопасности, вдруг опередил всех и разразился целым монологом.

— По области мотается. Шуршит! Заигрывает с нашими демократами. На телевидении доверительные беседы проводит. Вот чует мое сердце, запахнет жареным, переметнутся наши штирлицы за милу душу! С них ведь спрос особый...

Эта часть разговора происходила в бассейне, куда один за другим выпадали из парилки участники вечера, и генерал Захаренко с еще неостывшим оранжевым лицом хлопнул вдруг ладонью по воде и почти взревел:

— Что это за спрос, интересно! Кто это, интересно, спрашивать будет!

И все же этот старый, по-настоящему боевой генерал, побывавший в свое время и в Корее и во Вьетнаме, явно обреченный никогда не стать «полным» генералом, был чрезвычайно симпатичен Павлу Дмитриевичу. Такие с позиций не уходят. Если уж вспомнить про табель о рангах, то Захаренко был здесь повыше других, но ни разу ничем не выказал этого. Как и все, он тоже нашел возможность перехватить Павла Дмитриевича на прогулке по сосновой роще. Поглаживая сверкающую выбритость головы одной рукой, а другой комкая фуражку, слегка набычившись, он буквально выговорил гостю:

— Тут наши теоретики восторгались, как вы ловко дверью хлопнули, а с моей колокольни, знаете ли, это весьма по-другому смотрится. Можно и как дезертирство понять, уж извините за прямоту.

Едва ли от кого другого снес бы подобное Павел Дмитриевич. Тут же воистину готов был устыдиться, на мгновение словно вычеркнув из памяти всю, стократно передуманную мотивацию своего главного поступка в жизни. Но, быстро собравшись с мыслями, отвечал генералу так, как он того заслуживал,— серьезно.

— Вопрос стоял таким образом: быть соучастником или не быть. Но если бы это происходило сегодня, поверьте, я бы увеличил время обдумывания... Вы отсюда можете только догадываться, насколько сложна обстановка там...

Павел Дмитриевич говорил еще что-то и в итоге заполучил-таки доброжелательный взгляд и кивок генерала.

Молчаливый характер трапезы подчеркивал значительность мероприятия. Как специалист по всякого рода совещаниям, Павел Дмитриевич знал, что коэффициент полезного действия таковых, как правило, оказывается сосредоточенным лишь в одной части: чаще в середине, реже в начале, еще реже в конце. Заранее предугадать невозможно. Идет формальная или эмоциональная говорильня, и вдруг по какой-то странной логике человеческих общений произносится нечто существенное, вокруг чего все начинают плясать, и, глядишь, вытанцовывается решение проблемы, к которой еще час назад не знали, как подступиться. Период производительного общения обычно недолог, люди выдыхаются, переключаются на частности и детали, а искусство ведущего заключается в том, чтобы по возможности продлить состояние эффективной работы либо, раставив нужные акценты, вовремя закрыть тему, непременно оставив что-то недоговоренным и недосказанным, выйдя на решение проблемы, не разжевывать ее до конца, а предоставить такую возможность коллективу и тем самым сразу выявить в нем творческий потенциал.

У всех участников завтрака видел Павел Дмитриевич то самое чувство неудовлетворенности, когда нечто заявленное тем не менее не сформулировано настолько, чтобы могло стать руководством к действию. Именно этого он и добивается. Когда они встретятся в следующий раз, у каждого будут конкретные предложения, очищенные от эмоций и многословия.

Он категорически отказался ехать в деревню в чьем-либо сопровождении и тем более в обкомовской машине. Сошлись на обычном такси, которое было заказано и прибыло за час до отправления.

Прощался со всеми сердечно. Прощаться тоже надо уметь. Уметь уловить секунду и одновременно проницательно и доверительно взглянуть в глаза так, чтобы у остающегося на мгновение зашлось сердце в радостном трепете. В этой нехитрой методе нет какого-либо иезуитства, но всего лишь элемент искусства управления, когда каждый из нужных тебе людей получает как бы знак поощрения, который он поймет, но никак не сможет похвастаться им или злоупотребить.

Павел Дмитриевич справедливо был доволен собой, поскольку оставил у каждого из этих четырех возможно нужных ему людей именно то впечатление, какое хотел.

Второй секретарь Кондаков будет пребывать в уверенности, что гость в полной мере оценил ту пользу, какую он способен принести при особых обстоятельствах. Предисполкома Щукину Павел Дмитриевич сумел дать понять, что преданность и исполнительность — качества, возможно, скоро востребуемые. Генерал Захаренко остался при убеждении, что понят человеком «оттуда» как сторонник бескомпромиссных решений и действий. А редактор партийной газеты Горин не должен сомневаться в том, что он во всей пестрой компании один обладает аналитическим умом и альтернативным мышлением.

Был, однако, некий пустячок, мешающий Павлу Дмитриевичу испытывать полное удовлетворение ранее им не предусмотренными событиями. Он решительно не знал, зачем ему, собственно, все это нужно. Его личное поведение, безусловно корректное во всех деталях, в целом, тем не менее, неприятно отдавало хлестаковщиной. Этот горький осадок от в общем-то положительных впечатлений вдруг всплыл из тайника души в тот момент, когда такси из-под шлагбаума выскочило с бетонки на шоссе, ведущее к городу. Могло бы и настроение испортиться, но искренне радовала скорая встреча с Артемом, рядом с которым, он был уверен, все как-то встанет на свои места, и в дальнейших событиях уже не будет ничего такого, что способно омрачить счастливо задуманное и успешно выполняемое действо — поездку в прошлое с целью переосмысления настоящего.

Предупрежденный заранее по телефону, Артем уже ждал, стоя на последней ступеньке гранитной лестницы, над которой нависло стеклобетонное здание гостиницы с двусмысленным по нынешним временам названием — «Советское Зауралье». «Пока еще советское»,— не вкладывая никакого особого смысла, пробормотал Павел Дмитриевич, выбираясь из такси навстречу Артему. Они улыбнулись друг другу, как добрые давние друзья, почти как родственники. В улыбке молодого не было робости перед старшим, у старшего — снисходительности к мальчишке. Рукопожатие их не демонстрировало крепость пальцев, но только взаимоприятное смыкание рук. Лишь перед такси Артем слегка замешкался, и Павел Дмитриевич решитель-

ным жестом пригласил его к себе на заднее сиденье. Когда тронулись, спросил:

— Ну, как провели эти дни?

— На высшем уровне,— ответил Артем.— Вы что, большой начальник?

— Я же говорил вам, я пенсионер. Оказалось, что здесь меня знают. А о моей прошлой... жизни... потом, если захотите, хорошо? Ехать, как мне сказали, три часа.

— Два с половиной,— уточнил, не оборачиваясь, таксист.

Павел Дмитриевич немного опешил. Он забыл о присутствии третьего человека в машине, к тому же непривычен был сам факт вмешательства в разговор шофера. Вспомнилось еще, что, в отличие от Артема, сделавшего приветственный жест шоферу, сам с таксистом не поздоровался, увлеченный прощанием с областной номенклатурой. Желая как-то загладить эту неловкость, Павел Дмитриевич напрягся, придумывая, о чем бы спросить водителя, придумал и спросил. Тот отвечал благожелательно и пространно, и ситуация грозила стать необратимой: на повестку дня выдвигался монолог словоохотливого шофера.

— А знаете, Артем, я помню времена, когда до города приходилось добираться целый день, а зимой так вообще такое дело не каждому было под силу...

Таксист не стал упорствовать на прежней теме и охотно переключился на проблему состояния областных дорог.

Конечно, общение с народом, так сказать, тоже было в планах Павла Дмитриевича, но именно сейчас ему хотелось бы сосредоточиться кое на каких мыслях. Как всегда, выручил сообразительный Артем.

— Есть предложение слегка подремать, пока дорога хорошая.

Павел Дмитриевич выразил полное согласие с идеей своего юного друга, и они оба, слегка поерзав, заняли позы, вынудившие таксиста перейти на молчаливый способ выполнения своей работы.

Удивительно, но задремал. Мелькнули чьи-то лица, как на выцветших фотографиях, обрывки фраз знакомых, но неузнаваемых голосов. С этими образами и голосами в сознание вкрадывалась странная тревога, словно немедленно нужно было что-то вспомнить и высказать, чтобы избавиться от беспокойства, обступающего клочковатым туманом и грозящего удушением.

Наверное, застонал. Когда открыл глаза, встретился с вопрошающим взглядом Артема.

Прошли, видимо, всего лишь минуты, ехали все по той же улице, впрочем очень длинной, затем переходящей в тракт на север. Теперь шоссе. Город не узнавался, потому что не помнился. В своей биографии он его, в сущности, миновал. После ранения прямо из уезда, минуя губком, он был послан на комсомольскую конференцию в Москву. Там он оказался один, стрелянный кулаками, к тому же речь ему в уезде заготовили деловую и звонкую, произнес он ее громко и пылко, был замечен и направлен на учебу...

Мерцала и восходила его звезда. Потом, правда, была еще Кубань со взбесившимися остатками казачья и роман с комиссаршей Вандой, свирепой по политической и любовной части. Когда он ей надоел, она отправила его в Ростов по какой-то надобности, а сама другой ночью была изрублена в куски вместе со своим немногочисленным штабом.

Позднее не раз случалось бывать в неофициальных компаниях своих сверстников, близнецов по биографии, и никогда не мог понять Павел Дмитриевич восторга воспоминаний, что овладевал без исключения всеми, и эти обычные — «а помнишь...», «а вот тогда-то...», «а вот там-то...» Ему лично подобные воспоминания никакой радости не доставляли. Скорее, напротив, он не прочь был бы забыть, если не все, то многое. Но разве забудешь, например, тот ужас, что охватил его при известии о гибели Ванды. Он остался жить на земле по прихоти сумасшедшей бабы — чистая случайность — и, вместо того чтобы быть мертвым, он жив! Где же гарантия, что по какой-нибудь другой случайности он не умрет, вместо того чтобы жить?

Тогда подлинно соплячий страх надолго поселился в его душе, везде мерещились коварные случайности, опасные совпадения, таинственные предзнаменования. Тогда же замерла в бездвижности и неопределенности звезда его жизни. Оставшийся в живых один из всего чоновского отрядика, не мог он не чувствовать холодок во взглядах товарищей. Оказался перед выбором: уклониться или рискнуть. Если бы уклонился, без сомнения выжил бы. Но что это была бы за жизнь! Назад туда, в медвежий угол, в деревню, где мужики плевались ему вслед... Или в какой-нибудь другой дыре... Ужас, что охватывал его при такой мысли, был равен ужасу смерти. И он изъявил желание возглавить отряд мстителей, что формировался при губкоме. И возглавил. Когда произносил речь-клятву о мести, глаза его горели и пылали. Люди думали — ненавистью, и загорались огнем. Но то страх перед смертью изнутри выталкивал его зрачки из орбит.

Возможно, за правильность выбора был вознагражден судьбой. Банду перехватили другие. Ему даже не пришлось ни участвовать, ни присутствовать при расстреле. После рассказывали, что стреляли по ногам и, дав покорчиться и накричаться, докалывали штыками. Это было справедливо. То, что они учинили с Вандой, требовало справедливости.

Как сподвижник комиссарши, он произносил речь на ее могиле. Страх ушел или не ушел, но остался стыд за него. На всю жизнь. И когда кто-то по прошествии лет бахвалился лихостью и дерзостью молодости, никогда не присоединялся, но подозревал хвастунов в неискренности, потому что они, кто угодно из них, его ровесников,— они были такими же, как он, из той же породы, теми же изгибами судьбы вытолкнутыми из своих медвежьих углов мальчишками-несмышленышами, и не могло в их судьбах все быть лихо и блистательно.

Да и потом сколько было всего, о чем старался не вспоминать и радовался, что некому напомнить. Вместо страха смерти был страх за успех, если откровенно, за карьеру. Разве не случалось, что прятался от риска, пристраивался к сильным, покидал битых? Чего там! Бывало. Но рядом вперемежку было и другое: дерзость, инициатива, поиск. И авантюра, наконец.

Вообще молодостью могут кичиться люди, у которых, кроме этой молодости, ничего в жизни не было. А главное, ради чего живешь, оно свершается много позже, в то самое время, когда уже достаточно умен и опытен, чтобы не захлебнуться удачей, но принять ее как очередной виток жизни, как ее закономерное продолжение. Именно так с ним и произошло, когда в его жизнь вошла Люба.

С ней теперь предстоит серьезный разговор. Она, его верная жена, впервые нарушила правило, что установилось само собой при обоюдном согласии,— она вмешалась в его дела, она подключила к его личным делам посторонних людей, не понимая всей тонкости сегодняшнего расклада. К счастью, грубой ошибки она не допустила, московские связи, которыми воспользовалась, чтобы обеспечить ему хороший прием на месте,— это и его резервы, но она выявила их, и еще неизвестно, как все аукнется в случае изменения ситуации.

Нет, конечно, злости на жену не было. Имел место проступок, о котором будет идти речь... Да ведь уже и соскучился и по жене и по дочери, и вот стыд! По дочери меньше, чем по жене.

Наверное, совпадение, но появилась Люба, и жизнь Павла Дмитриевича вошла в спокойное русло. С большим успехом или меньшим, но не было более рывков, срывов, критических ситуаций. Первые люди государства ценили его добросовестность и разумную инициативу. И наконец, само государство жило нормальной жизнью, непохожей на другие, но ориентированной на верную цель...

Вспомнился тот седовласый и седоусый призрак, что посетил его перед самым отъездом. Он наговорил много страшного, но много и верного, и такое вот сочетание верного и страшного оставило в сознании тяжкое впечатление. Записав по свежей памяти весь разговор, Павел Дмитриевич просмотрел его еще раз уже во время сборов в дорогу и решил, что ни сам визит, ни все сказанное посетителем-призраком его ни к чему не обязывают. То, что было верным в словах гостя, это ему известно и осмыслено, все же прочее пусть останется в архиве на суд потомков. Во всяком случае, он не хотел бы повторения этой встречи, да и знал, что ее не будет.

Город остался за спиной. Водитель явно лихачил со скуки, кидая в обгонах машину с одной полосы на другую. Было непривычно и жутковато. Однако одернуть лихача не решился. Взглянул на Артема. Он спал, уронив голову на грудь. Не впервой уже замечал такую странность: во сне мальчишка был чуть менее симпатичен, чем в жизни. Редко такое бывает. Обычно наоборот. Павел Дмитриевич впервые подумал, что ничего, собственно, о нем не знает, что, возможно, у него было тяжелое детство, вот и снится оно и накрывает хорошее лицо тенью и искажает черты. Он немного старше дочери и мог бы быть сыном... Эта вечная боль — тоска о сыне! Иногда думал, хоть бы незаконный где объявился, Господи, как был бы счастлив! Тогда махнуть на все рукой и жить семьей. Его годы, для чего они еще, если не для семьи!

Но тут же тоска схватила за горло, дышать нечем. Нет! Невозможно! Невозможно! Ведь он привык понимать, что жизнь — это серьезно, что достойно для мужчины свое короткое пребывание в мире полностью отдать, посвятить, истратить на служение, он же не просто жил, но служил... Служил той эпохе, что совпала с его пребыванием на свете, и всегда стержнем его понимания себя и мира было убеждение, что ему повезло с эпохой, столь великой по замыслу и дерзновенной по средствам утверждения себя. И что же? Если предположить невозможное, что вот он, конец, что длина этой многообещающей эпохи всего лишь его собственная жизнь, тогда это вовсе не историческая эпоха, а фарс, и он — глупая кукла-марионетка в этом фарсе. Да разве он один! Возможно ли, чтобы с несколькими поколениями была разыграна такая подлая и пошлая шутка!

Есть же наконец имена: Маркс, Ленин...

— Послушайте,— не выдержал Павел Дмитриевич,— нельзя ли чуть поспокойнее ехать!

— А чо! Можно. Все быстрей просят...

— Мне не нужно быстрей,— отрезал Павел Дмитриевич.— Спасибо.

Шофер, похоже, обиделся, но скорость сбросил и перестал метаться по полосам.

...Если такое возможно, чтобы эпоха оборачивалась фарсом, то и во всей истории человечества смысла не больше, а это значит, что правомерна любая форма социальной активности. Правомерна и моральна. И тот, кто превращает эпоху в фарс, морален, во всяком случае не более того, кто этому препятствует. Если у истории нет целевой установки на всеобщее счастье, то всякий прав и имеет право навязывать обществу все, что ему взбредет в голову, потому что все социальные бреды одинаково бессмысленны...

Господи! До чего же можно договориться! Вот уж воистину лукавство мысли!

...Какое прекрасное шоссе построили! А что было?..

Вспомнил о именах? Маркс, Ленин... В этой строчке было еще одно имя. Но его зачеркнули. С оговоркой или без, но зачеркнули. В этом зачеркивании он сам принимал участие. И ведь какое имя было! Но смогли. Не означает ли это, что некие другие столь же просто смогут зачеркнуть и все остальные имена в этой строчке. Вот и появится этакий лихой и дерзкий крест на эпохе длиной в одну человеческую жизнь.

Но он-то, он прожил эту жизнь всерьез! Кто имеет право ее перечеркнуть! Ведь она уже заканчивается, его единственная жизнь, и он может не успеть увидеть, чем все это кончится! Он может умереть, не поняв смысла происходящего!..

Два предыдущих дня, что он провел на обкомовской даче, все, что там происходило,— какая же эта жалкая возня, постыдная игра в солдатики. И как он позволил вовлечь себя в эту дурацкую игру! Маленькие, жалкие людишки... Стыдно! Да разве не важнее сегодня понять тех «первых», кто затеял жестокую и позорную возню у пирога власти! Только безумцы способны испытывать удовлетворение от разрушения государства, только сумасшедшие или маньяки. Кто же они, его вчерашние соседи по кабинетам? Допустим, социализм — зло, капитализм, это известно,— не мед... Но государственность, она первичней социальных понятий, это же материя социального бытия. Как можно, пребывая в здравом рассудке, покушаться на основу основ? Что движет разрушителями? Инстинкт? Расчет? Или глупость?

Павел Дмитриевич срочно начал искать историческую аналогию, но искать ее не было нужды, она была под рукой. Римская империя! Разве ж это было историческое добро? Рабство и прочее... Но на поклонение ее останкам едут со всего света. И он был там, бродил по галереям Колизея, и дух захватывало от величественности останков. А как думалось о разрушителях? С омерзением! Да, он помнит, именно так представилось: налетели, грабят, жгут, топчут,— выродки человеческого рода, не оставившие после себя ничего, кроме развалин,— это же не его субъективный приговор. Это приговор истории. Даже простое сопоставление: римляне и итальянцы — ухмыльнешься, произнося, да и только. И опять же, это не он ухмыляется, но сама история скорбит по утраченному величию одного из родов человеческих.

Сколько зла и несправедливости было во всяких империях, разве сопоставимо с чем-либо нынешним, но пирамиды стоят и потрясают глаз, а разве это не конкретный культурный продукт величия и могущества?

В одном, без сомнения, был прав «кремлевский призрак», когда говорил, что люди еще затоскуют по утраченному величию, если утрата все-таки состоится. Затоскуют и поймут, что трусость и слабость двигала теми, кто поднял руку на величественный замысел, и презрение потомков будет им приговором. Заговор трусов и хлюпиков...

А может, заговор... просто заговор... И не первый... Действительно, а что, если все гораздо проще: исполнение тщательно продуманного плана, то же нашествие варваров, варварских разрушительных идей? О, Боже, если бы так! Тогда — пустое. Заговоры против истории обречены.

«Где это мы уже?» — подумал Павел Дмитриевич, и дрогнуло сердце. Он что-то узнал. Первое узнавание! Вот оно! Случилось. Районный центр. Бывший уездный. Еще даже не понял, что узналось, но волнение, которого не ожидал, схватило сердце и чуть сжало его. Была боль. Реальное болевое ощущение, но... приятное. Появилось желание продлить его, понаблюдать за ним сознанием, как бы похлопать по плечу, а если перейдет грань допустимого, волевым актом снять боль...

Сбросив скорость, они продвигались по главной улице бывшего уезда, спотыкаясь о пешеходов, пересекающих улицу без малейшего внимания к транспорту.

«Что же это такое? — с обидой подумал Павел Дмитриевич.— Полвека прошло, а городишко каким был, таким и остался». Но, присмотревшись и покрутив головой по сторонам, понял, что прав лишь отчасти. По бокам в разных направлениях разбегались кварталы пятиэтажек, и лишь эта главная улица, застроенная в начале века купцами средней руки, сохранилась и резала глаза памятностью чуть ли не каждого дома.

Поймал себя на том, что хотел бы вообще не узнавать, а лишь по-доброму удивляться переменам. Однако доброго удивления не получалось. Пятиэтажные кварталы смотрелись как времянки, а она, эта улица лавочников, купцов и содержателей всякого рода заведений давно издохшего режима, словно вызов бросала всему новому, что обступало ее со всех сторон в безуспешной попытке подмять, перелицевать, лишить права на вызов.

Вот две девятиэтажки по обеим сторонам вплотную нависли над улицей прошлого, нависли и даже будто чуть прогнулись вперед, и тень одной из них перекрыла сверкание здания белого камня, бывшего крестьянского банка, а потом, в двадцатых,— уездного совета. Дальше магазин-лавка купца... Господи! Как же его фамилия, ведь такая простая, у всех на языке была... Этаж надстроили... Тоже магазины... Дальше что? Участок? Память не успевала за глазом. Где-то здесь, на этой улице, пьяный, он в кровь передрался с работягами слепцовского мыловаренного... Вот, вспомнилась фамилия,— купец Слепцов. В двадцатых его все помнили. Замаливая грехи, чего он только не понастроил... Справа бывшее реальное -- его работа. В революцию пропал, а сына уже в тридцатых шлепнули за контру.

И храм этот... Ну надо же!

Павел Дмитриевич ахнул от удивления. Как новенький на горке, с крестами... Храм Николы... так называли...

После утверждения секретарем ячейки он тогда приехал в уезд получить револьвер. Соврал, что стрелять умеет, сунул за ремень под шинель, тоже выданную в качестве положенного обмундирования вместе с блестящими хромовыми сапогами чуть большего, чем нужно, размера. Оружейник ЧК, кажется, Костей звали, все торопился, подсовывая ему ведомость для росписи. Потом сказал: «Хошь, пошли со мной».

— Куда?

— Увидишь. Там сейчас всем нашим надо быть.

Они почти бежали по улице, локтями придерживая одинаковые револьверы под одинаковыми ремнями. Как оказалось, все же опоздали. Крестов на храме уже не было, и лишь на звоннице какие-то парни возились с колоколом.

Там, где по холму с трех сторон храм был обсажен тополями, словно прячась в оголенных осенью ветвях, толпились люди, в основном женщины, немного мужиков, да старики, да дети, которым все нипочем, они носились по холму, их отгоняли парни с красными повязками, чтоб не пришибло чем-нибудь падающим. Напротив центрального входа стояла другая толпа, те, кого собрали, кого смогли собрать в рабочий день на мероприятие. Здесь была в основном молодежь района, два гармониста, лихо расставив ноги, держали наготове блистающие пуговицами гармошки.

Костя-оружейник не стал ни к кому присоединяться, они остались в сторонке под холмом, ближе к центральному входу. Костя толкнул под руку.

— Нет, ты посмотри, приперся, контра бородатая!

Метрах в двадцати от них стоял поп, черный, почти цыганской масти. Одет он был как-то хитро, не по-церковному вроде и в то же время не спутаешь, и к нему из той, большой толпы стали подтягиваться люди, толпа из-под тополей начала медленно перетекать к попу. Те, у центрального входа, ничего этого не видели.

— Ага, знаешь, что сейчас будет? — сказал Костя.— Сейчас форменная контра будет. Бабы окружат его, начнут голосить, а он бороду задерет и начнет власть поносить. Вот хрен ему!

— Чего хочешь делать?

— А я ему, гаду, сейчас пару вопросиков кину, а как ответит, я его за контрреволюционную пропаганду в общественном месте в чека уволоку, и продержим его суток пяток...

Павел Дмитриевич отчетливо вспомнил внешность священника. Это теперь — священник. А тогда, возможно, он и слова такого не знал. Поп — и все. А поп этот по виду своему не был приходским батюшкой, как иные, но, скорее, этаким воителем веры Христовой. Он был красив, но то была красота врага, обстоятельство отягчающее, потому это был не просто враг, но враг опасный.

Костя встал перед попом, что-то сказал. Борода и усы не дрогнули. Не ответил. Стояли друг против друга. Костя еще что-то сказал. Поп вскинул смоляную бороду-метелку, повернулся и пошел прочь. Толпа снова затекла под тополя.

В звоннице не заладилось с колоколом. Был он не шибко большой, втроем запросто можно было снести его на руках, но суть мероприятия была в ином: колокол должен быть сброшен. А он возьми да покончи самоубийством! Так кто-то после шутил. Сорвался, когда его выводили из-под кровли, проломил нижнее перекрытие и застрял в нем полусферой чугунного зева.

— Вот шпана! — зарычал Костя.— Ничего толком сделать не могут.

Толпа под тополями ахнула, и Павел Дмитриевич помнит, как чуть ли не от этого общего вздоха толпы слетели с тополей последние, еще не до конца пожухлые листочки. Это помнят глаза. А душа? Что она помнит? А она помнит, что его вывела из себя реплика Кости-чекиста. Те, кого он назвал шпаной, были такие же комсомольцы, как и он сам, Пашка Клементьев. Обиделся за них и за себя. Ушел, бросив на оружейника уездного ЧК свирепый взгляд.

И что? Больше ничего? Ну, к примеру, ощущение, что, мол, перегибали?

Вот, вспомнил! Было чувство неловкости, когда подошли к храму, ведь их-то церковь Покрова, хоть и не в деревне, а на берегу Рассохи промеж трех деревень, но не только с крестами, но и все происходит там, чего скоро уже не будет, и звон, хоть и запрещен советом, но будоражит округу по воскресеньям, и топает деревенская темнота в объятия опиуму и контре. И не опускают глаза от стыда за рабство душевное, но зыркают злобно, дескать, переписывай, коли на беду тебя грамоте обучили, плевать нам на твои списки.

Карандаш обламывался под пальцами, когда подчеркивал тех, кто комсомольского возраста. Ульяну не подчеркивал.

«Однако же изрядный я был сукин сын!» — добродушно усмехнулся про себя Павел Дмитриевич...

— Мы, никак, на подходе,— сказал Артем, взглянув на часы. Павел Дмитриевич не заметил, когда свернули с шоссе. Этот поворот с бывшего северного тракта он помнил, но просмотрел и огорчился. С него начинались уже совсем родные места.

— Родные места,— сказал он вслух.— Здесь был лес...

— При царе Горохе! — охотно откликнулся таксист.

— При царе Горохе...— повторил Павел Дмитриевич.— Видите, Артем, какой я древний, если леса помню.

Дорога, похоже, была совсем недавно асфальтирована, без обычных выбоин и отломов по краям асфальтного пласта.

— Здесь росли рыжики...

— Рыжик-пыжик, где ты был? — многозначительно пропел таксист.

— А с приземлением у нас проблем не будет? — спросил Артем.

— С чем?

— Насчет жилья...

— У директора школы остановимся. У него семья на курорте... Наверное, уже земляника есть... На том берегу Рассохи ее уйма бывала. С погодой нам везет. В это время чаще дожди.

— Будут вам и дожди! — почему-то с радостью отозвался неутомимый таксист.— Еще как будут!

— Стой! — вдруг резко и громко скомандовал Павел Дмитриевич. Водитель дернулся от окрика, взвизгнул тормозами, воткнулся в обочину.

— Что случилось? — спросил не то зло, не то испуганно, развернувшись к пассажирам.

— Нет... нет...

Павел Дмитриевич сам смутился своего тона.

— Сейчас объезд будет, я пройдусь пешком, а вы, где сосны начнутся, подождете меня...

— Какие сосны! — завопил таксист.

— Что? Тоже нет?

— Да тут на сто верст ни одной сосны...

— Ну, все равно, объезжайте и ждите.

— В карьер, что ли?

— Какой карьер?

— Какой! Торфяной, какой еще!

— Глубокий?

Павел Дмитриевич был ошарашен сообщением.

— Да нет, но шибко по нему не погуляешь. Грязь, поди, по это самое будет...

— Все равно...— угрюмо и упрямо настаивал Павел Дмитриевич.— Нужно мне.

Артем взглядом попросился сопровождать.

— Нет, посидите здесь, я не надолго... если карьер, не пойду, конечно... посмотрю... надо...

Не говоря больше ни слова, вылез, весьма резко хлопнул дверцей и, перешагнув через неглубокую канавку на обочине, решительно направился к зарослям кустарника, скрывающим невысокий пологий холм вправо от дороги.

Казалось, был готов ко всему, даже к тому, что не найдет саму деревню на старом месте, ни одного знакомого дома... но чтобы прекратило свое существование на земле это место, самое главное место на земле его прошлого,— такое даже в голову не могло прийти. Если уж говорить о каком-то святом месте...

Святое? Павел Дмитриевич поразился, что в его сознании, оказывается, есть такое слово, определение, есть, наконец, такое отношение к месту и некоему событию, случившемуся на этом месте,— это и странно и возмутительно одновременно, и как еще понимать, если в сознании обнаружено слово «святое» в отношении к месту, где его убивали! Что за дикая трансформация памяти! Поразительно, какой психологический выверт вскормился с годами в его душе!

Но ведь с самого начала поездки жаждал, торопился попасть, оказаться именно здесь.

Конечно, тут не только когда-то прозвучал выстрел из-за стога сена, в этих же стожках, иногда даже средь бела дня, сойдясь с разных подходов, катались они с Ульянкой, дочкой кулака Свешникова. Положим, насчет кулака,— это уже потом так стало, когда сказано было — кулак! Но натура отца Ульяны точно была кулацкая. Греб под себя, сколько мог, как зверь вгрызался во всякий клочок земли, и все ему, бородатому, мало было. Двух сыновей, дочку и жену как волов использовал, сам загибался и домашних каторгой изводил. Выбился, конечно, хапуга, отстроился заново, железом крышу покрыл вторым в деревне, долгами треть деревни закабалил, хитер был, должников за шиворот не тряс, а для пропаганды кулацкой даже лошаденку на пахоту за так давал безлошадным. Непросто к нему подступиться было. «Работаю,— орал, брызгая желтой слюной,— потому и имею!» Когда против него голосовали как за кулака, все глаза прятали и руки тоже. Долго объяснять пришлось про его мелкобуржуазную сущность, и один Пашка Клементьев не справился бы с холуйской темнотой мужичья. Уполномоченный помог, Маркса и Ленина цитировал...

Едва ли была Ульянка шибко красивой. Много было красивей. Да больно гордые... Ульянка же, считай, сама упала ему в руки. Деревенские девки, какую ни возьми, крепкие, жилистые, а Ульяна была какая-то мягкая, так бы и мял с вечера до утра! Но так, чтобы с вечера до утра, ни разу не было. Отец утром зашиб бы. Но все равно, знали люди про их свиданки. Натыкались на них и здесь, на Божеполье, и в кустах Рассохи, и не ходи тогда Пашка в комсомольских вожаках да с револьвером, помяли бы его Свешниковы. Но боялись. Зато мягкий Ульянкин зад твердел от отцовских вожжей.

Павел Дмитриевич не без труда преодолел заросли и оказался у небольшого холма, за которым начинался болотистый луг по прозвищу Божеполье. Здесь были лучшие сенокосные угодья, издавна поделенные между семьями и домами деревни. Передележ происходил каждой весной, но особых свар не случалось, хитро и умно было продумано мужиками пользование Божьим полем.

Луг был болотист, но без топкости. Лошадь, однако, могла подвернуть ногу. Уже давно от того места, где Павел Дмитриевич остановил машину, были проложены тропы напрямую к разным концам деревни. Ехавший верхом объездом не пользовался, а, на всякий случай сойдя с коня, пересекал Божеполье, намного сокращая путь. Дорога же была для подвод, а потом для машин.

Павел Дмитриевич никак не мог решиться сделать всего несколько шагов вперед, взобраться на холм перед лугом. Он ведь, этот луг, в его памяти, неизбалованной ностальгией, зафиксировался намертво, как некое достоверное свидетельство правоты его жизни, провозглашенное однажды выстрелом из-за стога сена, и все, связанное с этим фактом, не имело права исчезнуть, но обязано было существовать вечно или пока он сам или память о нем пребывает в этом мире.

Он тогда возвращался из уезда, в обычном месте свернул с дороги, спешился и тропинкой двинулся поперек Божеполья. Была середина лета, неделей раньше закончился первый прокос луга, и стожки-копны уже просушенного сена рядками уходили к холмам на той стороне луга, где была деревня. Расстегнув рубаху, он шел не торопясь. На длинном поводке за ним плелся конь, успевая пощипывать на ходу новую поросль благодатного поля.

Прошел уже больше половины, как из ближайшего стожка полыхнуло...

Все помнится! Ноги как косой перерезало, но попало и коню, он вздыбился, дернул руку из плеча и словно приподнял над землей. Поводок резанул ладонь и взвился к небу, а Пашка с криком свалился на землю. На секунду исчезла боль, туман, застивший глаза, вытек из них, и он увидел бегущего от стожка человека. Ноги снова в голенях вспыхнули пламенем, но уже все было в порядке с мозгами. Барабан револьвера прокрутился так, будто и не были в нем задуманы остановки для самовзвода. Барабан замер, а человек все еще бежал. Потом вдруг упал. Пашка вскочил на ноги, они оказались на месте, на них, оказывается, можно было стоять, ими можно было управлять. Боль страшная, но ярость Пашкина — пострашнее. С ревом дикого кабана кинулся он к упавшему,— вот-вот он поднимется и побежит, а ноги уже немеют и прогибаются в коленях. Даже не волком, волкодавом упал он на лежащего без движения врага, схватил сначала за шею, словно придушить хотел, потом рванул откинувшуюся руку, крутанул к спине неумело, услышал хруст и почувствовал, что грудь его вся мокрая. Приподнялся рывком. Грудь в крови. Испугался было, но увидел в спине серого пиджака дырочку крохотную и пятно вокруг и успокоился разом.

Перевернул и охнул от удивления и злобы. Это был младший брат Ульяны Петро Свешников. С неба он упал, что ли, подумал, их же всю семью по весне вывезли. Вернулся, значит, кулацкий выродок! Сопляк!..

С холма от деревни уже бежали мужики.

Сапоги стаскивал и кричал, благо, никто слышать не мог. Свешниковский ублюдок был мертв, глаза подернулись... Пытался задрать галифе, заорал пуще прежнего. Разорвал одну гачу, другую. Где, что — не понять, сплошная кровища. Из откинутых сапог ручейками вытекала кровь. Замутило. Боль же чуть стихла.

К бабке Ряженой его притащили уже в полуобморочном состоянии. Ведьма спицей ковырнула ему пару дробинок, прошамкала черными губами:

— Шибко много ковырять надо. Истечет. А меня засудют. Везите к фельшару в уезд.

Заматывая ему ноги тряпками, бормотала, отводя глаза:

— Одну дробинку на спол-локтя выше, и остался бы ты, парень, на всю жизнь мерином. Везучий.

Вот тут он и потерял сознание. Думали, что от потери крови, но не так. Просто он вдруг представил это самое — спол-локтя — и вырубился от ужаса.

Петра Свешникова похоронили, как положено, в добром гробу и крест поставили. Ни об Ульяне, ни о ком другом из этой семьи Пашка больше никогда ничего не слышал. В последний раз в копнах он, правда, уверял Ульяну, что через год приедет и заберет ее, но да кто же в молодости не врал девкам...

Стрелянный кулаками, Пашка Клементьев быстро шел в гору...

А на пустяшный холмик забраться не мог. Приросли ноги к земле. «Сентиментальность — свойство старости»,— сказал себе сурово Павел Дмитриевич. И взошел.

Он увидел то, к чему приготовился Так, наверное, будет выглядеть земля после атомной войны. Так может выглядеть ад.

«Мерзавцы!» — прошептал Павел Дмитриевич и закрыл было глаза; но нет, не смотреть не мог. Рваная черная яма с черными блюдцами луж от ног его простиралась до самых холмов на той стороне. Божеполья не было. Кто-то подлый и могущественный подсмотрел его память и осквернил, стер с лица земли то единственное место на ней, что было и смыслом и оправданием всей его жизни. Сама по себе вызрела странная фраза: «Это моя могила». Мысль, конечно, была глупая, точнее, несуразная, но чувство пребывания на кладбище усиливалось с каждой следующей минутой.

«Вернуться? Дальше мне незачем ехать. Что мне эта деревня без Божеполья? Без него она ничего не стоит и ничего не значит для меня».

Пустота входила в душу, душа сжималась и безмолвно корчилась в судорогах. «Жизнь из меня уходит, что ли?» — подумал. В ногах тяжесть. Осмотрелся, присел на траву.

Ну, не глупость ли? Сколько этого торфа отсюда выкачали? Несколько тысяч тонн? И кладбище! А поле могло кормить тысячу лет. Боже, какие бездари и тупицы!

Что ж в итоге получается? Из его биографии исчез факт — основание, а все прочее, все, что было после, виделось как предлинная анкета с вопросами-ловушками, и на все надо ответить заново, да так, чтобы все сошлось над одним знаменателем...

«Чушь! Что это со мной! — возмутился Павел Дмитриевич.— Ну, выскребли этот луг в три квадратных километра. Появится умный хозяин, разровняет, засыплет — и живи! Чушь! Просто прихоть взыграла. Ведь как себе представлял: пойду по полю, тут то-то было, там — то-то, встрепенется душа, вернусь в машину довольный и умиротворенный. А тут на тебе! Нет на земле твоего заповедного места, откуда в жизнь попер нахрапом. Нет — и все! Чушь!»

Павел Дмитриевич уже поднимался, постанывая от ломоты в ногах, и тут его подхватили и выпрямили две сильные руки.

— Что случилось?

В глазах парня была подлинная тревога. Взглянув в эти глаза, Павел Дмитриевич понял, что все его волнения — пустое, что в душе этого парня взрастает Божеполье несоизмеримых размеров с нынче утраченным, и в нем, в таких, как он, в его поколении — смысл и оправдание Пашки Клементьева. Вот тут-то бы и не грех прослезиться, но не умел Павел Дмитриевич пускать слезу и презирал слезоточивых мужиков.

## 9

После того как широкомордые крысы в шляпах перехватили у поезда моего старикана, я целых два дня расслаблялся. А уж условия для расслабления мне предоставили идеальные, я даже не подозревал, что в такой глухомани существуют подобные гостиницы! В номере: спальня с двумя кроватями, гостиная с телевизором, холодильником и набором всяческой посуды, ванная отдельно, туалет отдельно,— и это все для одного человека. Днем я отсыпался, а вечером, возмущенный наличием двух кроватей, подхватил двух девиц и просадил такую уйму денег, что теперь придется учитывать каждый истраченный рубль. Я, конечно, востребую возмещение убытков с Жоржа, я же четверо суток добросовестно работал комсомольцем, тут только один моральный ущерб чего стоит! Тем более что не Жорж монету выложит, а куколка-жена моего подопечного. А с них не убудет!

Одна из двух, что я загреб в номер, узнала меня и от радости чуть не обмочилась. Знаю я этих ритмичных идиоток — будешь петь про Освенцим или Колыму, а они будут подпрыгивать, хлопать ладошками над головой и визжать, потому что извилины у них выпрямились вместе с ногами. Но вот штука! Убери их из зала, и можно провалиться. Куражу они способствуют именно своим чистосердечным идиотизмом.

Ее подружка была такая же. Но зачем мне другие? Утром я конспиративно спустил их на лифте и из-за угла наблюдал, с каким вызывающим достоинством каждая из них протопала мимо дежурного администратора.

Второй день я шатался по городу, посмотрел боевик и рано завалился спать, чтобы утром следующего дня встать паинькой, который очень любит таскать чемоданы пенсионерам союзного значения.

В поезде ехавший в общем-то смирно, в машине старикан мой начал дергаться. За окном «малая родина». Я даже малость переполошился, когда он вполз на какой-то бугор и застрял там.

«Здесь было поле,— сказал он, когда я до него добрался,— здесь в меня стреляли кулаки».

Тут я чуть было не оплошал. Дурная привычка хохмить по всякому поводу чуть не подвела меня. «Не шибкие, видать, мужички были, если так хреново стреляли». Нет, конечно, я этого не сказал, но хорошо, что он не смотрел на меня в этот момент, потому что хохма явно была нарисована на моей морде.

Когда приехали в деревню, он искал свой бывший дом и, как мне показалось, обрадовался, что его дома нет, а на его месте облупленная трехэтажка. Потом тыкал пальцем то влево, то вправо, демонстрировал мне свою память, фамилии разные называл, и сколько у них было детей, коров и лошадей. На один дом нахмурился и заткнулся. Я человек воспитанный и деликатный, уточнять причину хмурости не стал. Может, в нем жил кто-то из тех кулаков, которые стрелять не умели.

Еще в поезде, когда после некоторого размышления я согласился поехать в его деревню и там с его помощью превратиться в пашущего вола, убедил я тогда старикана попридержать в тайне мое намерение, мол, присмотрюсь несколько деньков, поищу, где бы участок пожирней выклянчить, с народом потолкую, ведь может так случиться, что народ не поймет моего самопожертвования или поймет неправильно: это же бывает очень даже больно, когда тебя неправильно понимают, особенно если сначала по голове, а потом ногами. Я же собирался ни больше ни меньше,— показать советскому трудовому крестьянству, как нужно работать, чтоб тебя начальство любило.

Когда он только собрался представить меня директору местной школы, в чьем доме мы должны были поселиться, тот, желая подмазать знаменитому гостю, залопотал радостно, пожирая меня влюбленными глазами:

— А это, я понимаю, сынок ваш!

Какая хохма вертелась у меня на языке! Но был в форме, смутился, как положено хорошо воспитанному молодому человеку, и смущением своим предложил названому папаше самому рассеять недоразумение.

— К сожалению, нет,— ответил «папаша»,— это мой дорожный попутчик, у нас с ним есть кое-какие планы сугубо личного характера.

Ничуть не уменьшив влюбленности, директор школы страстно пожал мне руку, сказал, что меня он тоже очень рад принять в своем доме и если чем полезен может быть, то весь к моим услугам.

А в общем, он ничего мужик, Сергей Ильич. Директор он не типичный, а может быть, типично деревенский. Я так и представляю, как он на очередной общешкольной линейке, посвященной красной дате, произносит выученную наизусть речугу и, поставив после нее нужный восклицательный знак, вытерев пот со лба и превратившись опять в человека, говорит с отеческой строгостью: «А еще хочу сказать, что Иванов из пятого «Б» опять оторвал крышку от парты, и за такое безобразие пусть его отец придет и собственными трудовыми руками починит парту и покрасит пусть сам откуда хочет, потому что последнее ведро краски, что осталось после косметического ремонта, бывший завхоз Мухрышкин обменял на бутыль технического спирта, отчего и помер в муках и раскаянии, а по смете у нас на сегодняшний день одни нули».

Еще на улице, у крыльца, когда увидел поленницу дров, подумал, что он математик, и угадал. Только человек математического склада ума мог сложить такую поленницу, не в ряд стенкой, а круглой башней не только точных геометрических очертаний, но полешко к полешку, словно они все одного размера в длину и толщину. Красиво!

Дом большой, но, как было объяснено, зимой использовалась только половина, потому что никаких дров не хватит...

Нас с паханом поселил в двух смежных зимних комнатах, где по необходимости можно было подтопить русскую печь, разделявшую наши с паханом апартаменты.

В первые же часы пребывания в гостеприимном доме Сергея Ильича я оказался свидетелем превеселой сцены, когда уже уселись за стол для приветственного чаепития. С полчаса вопросы-ответы, так, ни о чем серьезном. Но вижу, мнется наш директор, глазки свои добрые туда-сюда, что, мол, с державой нашей творится и куда идем...

Мой со скорбной рожей отвечает, дескать, трудные времена настали, ошибки были, а нехорошие да безответственные люди воспользовались и нагнетают, и, если не одумаются вовремя, большой беде быть для державы. А Сергей Ильич поддакивает, вот, мол, и до нас докатилось, молодые учителя приехали, на программы плюют, там, в программах, конечно, чепухи много, но если каждый на свой лад все перетолковывать будет, тогда что с учебным процессом... и в коллективе разлад...

Глазками снова туда-сюда, бац-бац... Тут вот звонили из области, чтоб собрание при школе провести про коллективизацию, чтоб вы там, так сказать, поделились, да вот опасение имеется, что кое-кто из молодых заершиться может... Про жизнь-то что они знают, нынешние молодые, а говорят иногда, как указкой по голове колотят... Историчка-девчонка о Павлике Морозове такое... В общем, как насчет собрания?

Смотрю, у моего пахана губы как у покойника и в руках ложка с вареньем мелкой дрожью, и сам весь такой вертикальный... Никаких торжеств, говорит, это самодеятельность обкома, я и не собирался, а цель поездки — по родине истосковался... и вообще безобразие...

Обрадованный директор руками замахал, да нет, мол, это только частично кто-то чего-то не поймет, а он лично просто счастлив... Кончилось тем, что пахан опрокинул-таки ложку с вареньем на цветастую скатерть (я все ждал, когда это случится!), сник, сгорбился и попросился отдохнуть после утомительной дороги. Директор готов был на руках отнести своего гостя в спальню, так радовался, что не придется произносить речь о ликвидации кулачества как класса. Пахан удалился, не взглянув в мою сторону, и мне даже стало чуть жалко его. Где-то читал, что нельзя возвращаться на родину побежденным. Года три назад ему бы ковровые дорожки выстелили по всей деревне и поле кулацкое садами засадили. А тут прибыл, и на тебе! Ни хлеба с солью, ни речей торжественных и, как я понял, даже пионерского галстука на шею не будет!

Вот и задумаешься, до чего ж рискованная штука жизнь, и как изловчиться, чтоб под самый конец не обгадиться! Когда-нибудь я всерьез подумаю об этом. Сейчас, к примеру, я тоже носа не сунул бы в свою деревню, потому что битый. Не жизнью битый, глупым случаем, но родина не признает смягчающих обстоятельств. И у моего старикана, похоже, все еще впереди в этом смысле. На что рассчитывал, спрашивается? Наверное, у этих партийных зубров мозги настолько прокисли, что реальный мир они уже не воспринимают в подлинности, а только под марксистским сиропом: кинул ложечку, разболтал — порозовело, еще ложечку — вот теперь красно, значит, прекрасно!

Я изъявил желание прогуляться по деревне и прогулялся.

И без того знал, а сейчас уверился, что я бы тут и месяца не прожил. Дальние улочки еще ничего, зеленые, смотрятся, но в центре! Бессмысленная площадь, по которой носятся какие-то машины и мотоциклы, пыль не оседает, а висит в воздухе громадными полотнищами и колышется, заглатывает, обволакивает... Не только на зубах песок, будто стекло жеваное, но даже за ушами. Мерзкие здания цвета общественных туалетов, вонючая столовая, полная мух, нелепо громадный Дом культуры,— и надо же такое название придумать! Но самое страшное — люди! Они все какие-то одинаковые, толстые злые женщины и, наоборот, длинные худые и тоже злые мужики. Прошел деревню из конца в конец, ни одной симпатичной мордашки. Может, попрятались и, как в Москве, к вечеру повылезут? Только откуда им вылезать?

Зря я только что пожалел своего пахана. Сволочь! Он же хочет, чтобы я здесь жил, чтоб я с утра до вечера вкалывал, потом, подгибаясь в коленках, брел в эту вонючую, мухосранскую столовую еще полчаса работать челюстями, пережевывая кусок коровы — ровесницы Октября, и запивал его компотом, разбавленным ополосками, потом — программа «Время» и сон для восстановления сил к следующему трудовому подвигу. Он верит, что я на это способен, считает меня полным ослом! За кого же они, гады, держат нас! Как же нужно презирать народ, чтобы превращать его в рабочий скот и при этом заставлять чувствовать себя самыми счастливыми в мире! Я буду пахать, он меня будет стричь, как барана, при этом любить меня и прославлять через прессу-проститутку, чтоб, глядя на меня, какой-нибудь другой баран сказал радостно «бе» и помчался ко мне в помощники. Да я скорее грабить пойду честных богатеньких советских граждан, чем лезть в это ярмо на потеху партийных шляпоносцев!

Злой как собака добрался я до директорского дома и увидел на крыльце старика. Был он при костюме и при кирзовых сапогах, в белой рубашке... только что без галстука. От ветра жидкие волосенки на его голове топорщились в разные стороны, усы, тоже негустой посадки, свисали на губы и шевелились при выдохе. Деды бывают симпатичными. Этот симпатичным не был.

Когда от калитки палисадника я направился к крыльцу, он, сидевший на середине верхней ступеньки, сдвинулся к краю, при этом смотрел на меня так, что пройти мимо было невозможно. Я поздоровался. Он ответил. И продолжал пялиться на меня. Я сел на ступеньку с другого края.

— Что-то я тебя не знаю?

Голос его не соответствовал внешней дряхлости. Не ожидалось услышать такой низкий тембр. Я развел руками.

— Совпадение. Я вас тоже не знаю.

Смех его походил на кашель.

— Ты не с этим приехал? — кивнул головой на дверь.

— С ним.

— Охранник его, что ли?
— Похож?
— Не. Хиловат.
— А может, я обучен чему.
— Как по молодости, так он бы тебя с обученностью пополам сломал бы и не утомился. Щас старик, конечно, на два года старше меня.
— Знали его?
— А ты, случаем, не сын али внук?
Забеспокоился.
— Просто вместе ехали.
— Значит, охранник,— успокоился дед.
Я его разубеждать не стал. Прав ведь. И уж наверняка поумнее своего приятеля молодости. Скажи я ему, что приехал сюда, за тридевять земель, чтобы ярмо одеть на шею, не поверит. Только партийному долболобу можно всучить такую гнилую легенду.
Дед зашевелил усами, забормотал:
— ...посчитал нынче, больше полста годов прошло. Полста годов!
Покачал головой, посмотрел на меня, дескать, понимаю ли, что такое полста годов. Я не понимал, я только знал, что такое бывает. Я не обязан понимать чужой вздох о жизни. Даже уверен, что такое не нужно понимать, что это опасно, как трупный яд, говорят, есть такой. У меня задача более сложная — понять свои двадцать, понять правильно и принять одно единственно правильное решение относительно двадцать первого года. Если не промахнусь, потом всегда смогу возвращаться куда угодно, и никто не будет прятать глаза при встрече со мной.
Дед странно разговаривает. Начало фразы у него произносится где-то в горле, оттого одно бурчание, и только потом слова.
— ...в войну, понятное дело. А сейчас-то чего?
— Что? — переспросил я.
— От кого охранять-то?
Так уж мне хотелось сказать — от народа,— может, и понял бы дед, наверное, понял бы. И отстал. А если бы я был «девяткой», как бы я ответил такому вот дотошному, чтоб ничего не сказать, но и ответить?
— Ну, мало ли что может быть.
Сказал и пришел в восторг от того, как это здорово у меня получилось. Но дед не успокоился.
— С каждым что-то может быть. Но понимай так, что с каждым пусть, а с кем-то никак.
Захотелось повыпендриваться.
— Вас как зовут?
— Меня-то? Михаил Иваныч я. Будко моя фамилия. А тебя?
— А меня зовут Артем. Должен сказать вам, Михаил Иванович, что у вас глубокое демократическое понимание социальных процессов.
Он отвернулся от меня, достал блестящий портсигар с тремя охотниками на крышке, вынул папиросину «Беломор», неторопливо убрал портсигар, поискал спички по карманам, нашел, закурил, выпустил дым в другую от меня сторону. В горле у него снова забурчало.
— ...и кто только вас таких умных рожает. Раньше худо мужику, выпил да поблевал. Худо, глядишь, ушло. А теперь, не пьют — говорят, пьют — говорят, не поймешь, то ли говорит, то ли блюет.
Золотой дед! Я б с таким до Сахалина ехал. А еще несимпатичным показался! Пока подумывал, как бы нам продлить общение, к калитке подкатила «Нива», из нее вылезли три мужика в том же параде, что и дед: сапоги, костюм, но рубашка с галстуком. Когда они подошли к крыльцу, дед уже стоял в стороне, но все трое обратили на него внимание. Тот, что шел первым, спросил:
— Михаил Иваныч, ты что здесь?
Дед вскинул голову, ответил басом, с достоинством:
— Да вот, Пашку Клементьева посмотреть хочу. Да, похоже, дрыхнет еще.
Трое стояли и смотрели на деда. Потом тот же как-то не слишком уверенно подошел к нему.
— Ты знал его, Михаил Иваныч? Но... время-то прошло сколько...
— Не переживай,— спокойно ответил дед,— приставать к нему не собираюсь. Он же ко мне не придет. А пойми то, что на теперешний день из мужиков деревни на земле только и остались, что я да он, а другие все в земле, кто где. Вот и сообрази. Двое нас. И не боись, захочет разговору, поговорим. Но смотреть я его должен.
Тот обрадованно закивал.
— Да, конечно! Конечно! С нами пойдешь или как?
— Да говорю же, дрыхнет.
— Сергей Ильич звонил, что встал уже. С нами?
— Чего мне с вами. Тут подожду.
Теперь все трое смотрели на меня.
— Охранник евонный,— буркнул дед.
Ко мне потянулись руки.
— Директор совхоза Новожилов Василий Анатольевич. А это наш председатель сельсовета...
— Не охранник я. Уже объяснял ему. Просто приехали вместе.
— Ну, чего ж, понятно,— радостно закивал председатель сельсовета, многозначительно сжимая мне пальцы. Третий был, конечно, парторг. Ни один из троих мне не поверил. И эти умнее моего пахана.
Протерев сапоги, они гуськом вошли в дом. Я снова уселся на крыльце. Дед тоже подошел и пристроился с другого края. Ко мне он больше интереса не проявлял. Сидел молча, сосал потухшую папиросу. Зато меня зуд одолевал капнуть слегка скипидарчику, чтоб зашипело...
— Михаил Иваныч, а что, гордились вы, поди, что ваш земляк так высоко пробился?
В мою сторону не посмотрел. Забурчал:
— ...не успели. Только возгордились, как его ругать начали.
— А чего ж раньше-то?
— Раньше, брат, не до него было, а сам не объявлялся.
— Здесь кулаки в него стреляли, да?
Дед затолкал папиросу в спичечный коробок.
— Стреляли. Было дело. Надоел ты мне, охранник. Твое дело молчать да смотреть в оба, а ты кудахчешь сидишь.
— И то верно! Буду в оба смотреть!
Через некоторое время из сенных дверей, пятясь и раскланиваясь, выкатилось все совхозное начальство. За ними вышел мой подопечный. На крыльце, с которого мы с дедом поспешно смотались, они еще трясли друг другу руки, друг друга заверяли во взаимном удовольствии встречи. Мой пошел проводить их до калитки. Когда возвращался, заметил деда. Это надо было видеть!
Злость на пахана чуть не выдавила мне мозги из затылка. Стояли рядом два человека, один лишь на два года старше другого, но тот, как раз старший, выглядел мужчиной с нормальным цветом лица, с вполне нормальными руками, прямой, как столб, а второй, младший, тоже ведь не хлюпик, в сравнении с тем — развалина; лицо цвета урюка, с костлявыми скрюченными пальцами,— вот таким стал бы и я, если б не туфту гнал, а действительно пошел пахать... И ведь какая сволочь! Сам из деревни сбежал и выиграл же! Вот они, оба рядом!
Мой наконец качнулся, сказал тихо:
— Будко, что ль, Михаил?
— Он,— ответил дед, не отводя глаз.
Мой подошел ближе. Лица я его не видел, но фигура, она тоже много может сказать. Каким-то странным образом то ли присел, то ли втянулся в живот, плечи обвисли, ах, если бы еще и морду видеть! «Я тоже старенький и дряхлый!» — вот что хотел он сказать другу своей молодости. Стыдно стало? Прикидывался?
А дед? Никогда мне не забыть и никогда до конца не понять, что было на его лице. Можно попытаться перечислить: сначала ошарашенность, потом, пожалуй, зависть,

может быть, стыд, но не уверен. Но в обвислых усах, провалиться мне, была еще и гордость, даже что-то вроде вызова,— казалось, что выражение его лица меняется со скоростью кинокадра. Только что точно видел гордость, а вот уже и наоборот, что-то лакейское промелькнуло. Что и говорить, не простой этот дед, да и бывают ли простые, если вот так присмотреться к каждому, особенно когда он перед кривым зеркалом...

— А Степка Горбунов что?

— Откуда знаешь про него?

— Так писали же мне...

— Учителка? В город сбежала. А Степка помер в прошлом годе на Покров.

— А еще кто-нибудь?..

Дед отвел глаза. Вздохнул.

— Пойдем, посидим, что ли? — сказал мой робко.

— Посидим,— согласился дед.

В дверях никто из них не хотел проходить первым, они дурацки топтались друг перед другом, потом мой чуть ли не силой протолкнул деда в дверь. Страсть как хотелось послушать их разговор. Я заскочил в дом, будто воды попить, и подслушал-таки пару отличных фраз. Мой спросил: «Как жили-то тут?» Ну, можно ли задать вопрос глупее! А дед ответил: «Как ты приказал, так и жили». Как это было сказано! Это надо было слышать!

Я погрохотал ковшиком по ведру и вышел. Снова решил поболтаться по деревне. Пошел к реке. Посидел с мальчишками, они вылавливали какую-то мелочь, но были серьезны и деловиты, как труженики рыболовецкой артели. Мне стало тоскливо. Когда возвращался, уже ближе к вечеру, вообще напала сентиментальность и деревня не раздражала, а было даже что-то вроде зависти,— это когда человек завидует чему-то, что живет дольше его, дереву, например,— такая бесполезная зависть может быть очень даже искренней, ведь местами не поменяешься... Конечно, думал, хорошо бы, например, взять и вырастить сад там, где его никогда не было, или посадить дубовую рощу. Но это одно дело на всю жизнь. На всю, положим, мою жизнь, которая когда-то началась и когда-то кончится. Одно дело! А хочется много и разного. Будь жизнь подлиннее, хотя бы лет полтораста, можно было бы лет тридцать или сорок отдать варианту с землей. В принципе это же интересно: затыкаешь в землю сущую кроху, поливаешь водичкой, а из земли появляется что-то совсем другое, но именно то, что тебе нужно. В общем, это даже чудо, когда из пустой и мертвой земли появляется штука, которая живет. Когда вижу огромное дерево, так хочется раскопать корни, чтобы увидеть то место, где из мертвого начинается живое, и как это чудо получается.

Они, жители деревни, ежегодные творцы такого чуда, подобных мыслей, наверное, не имеют. Кинул картошку — выросла картошка. А мне кажется, если б жил на земле, сколько жил, столько и удивлялся бы.

А если по-другому посмотреть, в самом факте жизни есть какое-то тупое упрямство. Жить — во что бы то ни стало. А почему, собственно, обязательно нужно жить? И ведь очень часто за счет жизни другого. Не будь этого жизненного упрямства, не было бы уничтожения себе подобных. Но если так, то как будет все это выглядеть? Положим, некое первое живое, столкнувшись с другим, уступило и умерло. Второе умерло, уступив третьему,— ясно же, сплошная цепь смерти! Значит, уступчивость, доброта — это путь самоуничтожения мира! А чтобы жизнь сохранилась хоть где-то, одному живому нужно убить второе, третье и еще сколько-то, и отвоевать пространство для жизни? Если мне не отказывает память, я сейчас только что изобрел дарвинизм! То ли я гигант, то ли Дарвин не очень!

Но вот насчет сада или дубовой рощи, те, кто их сажали, ведь не считали же они себя бессмертными. Или они жизнь понимали не так, как мы? Или к смерти относились по-другому?

А в доме директора школы меня ждал сюрприз. По комнатам носилось длинноногое существо в вельветовых брюках, в розовой кофточке и в тапочках фантастического расшива. Уже в дверях я услышал ее звенящий голосок:

— Как тебе не стыдно, папка, у тебя же везде пыль! И какие ты простыни достал! Ты хоть соображаешь, какие ты простыни достал?

Сергей Ильич перехватил дочку где-то между комнатами и за руку подвел ко мне.

— А это Артем. Я тебе говорил.

— Привет! — махнула она мне ресницами и вдруг замерла напротив меня, расплываясь в идиотской улыбке.— Ой! Я же вас знаю!

Мне повезло. Я стоял в этот момент так, что ни ее отец, ни пахан мой, чего-то торчавший в кухне, не могли видеть моего лица. И я со своим лицом проделал такое, что ее длиннущие брови от ушей стянулись к переносице.

— Он из Москвы, и потому знать ты его не можешь, а у нас впервые. Это дочка моя Иринка, студентка, только что из города примчалась, и вот видите, разнос мне устраивает.

Девчонка, кажется, поняла мою дикую мимику, но стояла и пялилась на меня, точно я Карлсон или Чебурашка.

— А еще она у меня отлично готовит, жаловаться не будете...

— Ты лучше скажи,— прервала она его,— чем ты тут их кормил? Салатами, поди?

— Ну почему же! Щи у меня, по-моему, неплохо получились, что скажете, Артем?

Я сказал, что щи были нормальные, и, будто вспомнив о чем-то, выскочил в сени, успев подмигнуть девчонке. Минуты через две она объявилась на крыльце. Я припер ее к двери, подставил ей палец ко лбу и сказал голосом трагического актера:

— Проболтаешься — придушу, как Дездемону!

— Невинна я, о господин мой! — пропищала она и сразу мне понравилась.— Это же надо! Папка новый телек купил, а старый я в общагу увезла. И только на прошлой неделе смотрели вас, а вы здесь!

— Врешь. Я последний раз в программе был полгода назад.

Она вся затрепыхалась.

— Чего говорите, сейчас скажу, ну да, в ту среду мы смотрели!

— Может, повтор?

— Валька с Наташкой просто легли, как вы им понравились!

— А тебе?

— А мне не очень. Я не типичная, не волнуйтесь. А чего это вы здесь? И волосы обстригли. Все вас за охранника считают.

— Подробности письмом. Хорошо?

— Нет, ну надо же! У меня в гостях сам Артем...

— Стоп! Дыши ровнее! Топай в дом, а то чего-нибудь заподозрят!

— А вы потом расскажете...

— Да иди же ты! Увидимся. Пароль прежний.

Она пискнула довольно и шмыгнула в дверь.

А ночью мне приснился сон, будто дирижирую оркестром, который исполняет мою музыку. Кажется, это была симфония. В руках я не держу дирижерской палочки, просто ладони мои как-то странно вздернуты. Я махал ими и на всплесках музыки сам воспарял в воздух вместе со всем оркестром. Оркестр уставал от напряжения и опускался, я терпеливо ждал, когда он соберется с силами, и с очередным взлетом музыки мы снова воспаряли и торжествовали в звуках. Потом было состояние полупробуждения. Кто-то проникновенным голосом спрашивал меня, чья это музыка. Я гордо отвечал: «Моя!» Но тот же голос возражал мне назидательно, что эта музыка не может быть

моей, потому что она больше меня. От обиды я окончательно проснулся. Но музыка осталась со мной, правда, это была лишь мелодия песни, но она была, и я, вскочив, начал рыться в рюкзаке в поисках бумаги. Нашел лишь блокнот и карандаш, быстро начертил нотные линейки и записал двадцать три строки, практически не отрывая карандаша от бумаги. Потом долго с удивлением пялился на ряды как попало набросанных нотных знаков и не верил своим глазам. Это была песня, которую можно петь по-настоящему, а не доводить до жанра экспериментальными трюками и сценическими фокусами. Я уже знал, о чем должны быть слова, но мне с этим не справиться, срочно нужен поэт-песенник, я стал перебирать имена, к кому обратиться... И оркестровка... В Москву!

С этой мыслью я примчался к уличному умывальнику и долго плескался холодной водой. А когда наконец устал хлопать себя по бокам и спине, на плечи мне упало громадное махровое полотенце. Мне улыбалась красивая девчонка. Я схватил ее за плечи и поцеловал.

Мы сбегали на речку и искупались. Когда мы устали целоваться, я отпустил ее готовить завтрак, а сам кинулся к блокноту и пробежал глазами запись — вдруг мне только показалось спросонья, что это что-то. Но нет! Все было на самом деле, на кривых строчках, как на просушке, висела песня, ее можно было снимать и выглаживать оркестром. И как только я в этом убедился, в мозгу закрутилось еще что-то, и я уже знал: за дни отчаяния и злобы во мне накопилась музыка, и она лишь ждала момента, когда я услышу ее в себе.

После завтрака к калитке подкатил «рафик» и из него, кряхтя и постанывая, вылез дед Будко. Тут же появился мой, и, пошептавшись с Будко, они направились к машине. Я, в общем-то, немного забеспокоился, подошел к машине, спросил, будто так, между прочим:

— Далеко?

— Да вот, Михаил Иванович что-то показать мне хочет. К обеду вернемся.

Я заставил Ирку найти мне обыкновенную школьную тетрадь и карандаш жесткого грифеля... Чертил линейки. А когда она забегала ко мне, целовался с ней. И то и другое делать было очень приятно. За это время Ирка успела мне сказать, что пою я, как соседский козел Борька, а прыгаю по сцене, как соседский же петух по кличке Чапай.

В два часа вернулся «рафик», и мы с Иркиным отцом и дедом Будко вытаскивали моего пахана. Его было не узнать. Глаза провалились в глубину черепа, лицо пожелтело, шея не держала голову, голова запрокидывалась, и тогда он хрипел. На «рафике» же привезли местную врачиху. Не знаю, что она с ним делала, но сказала, что не умрет, что, возможно, микроинфаркт, нужно в больницу, но сейчас его лучше не трогать, пусть отлежится. Я помчался на почту отбивать телеграмму. Возвращаясь, наткнулся на деда Будко.

— Признавайся,— сказал я ему строго,— это ты моего патрона достал!

— Чего болтаешь-то? Какого патрона?! — прикидывался дед.

— Чем ухайдокал его, а?

— А что с ним? — полюбопытствовал дед.

— Врач говорит — микроинфаркт.

— Ишь ты,— перекосился дед,— инфаркт знаю, а микро, это чего?

— Небольшой, значит.

— Ну да. У всех инфаркт как инфаркт, а у него небольшой.

И такую злобу я увидел на его лице, что даже замер от удивленья и ничего больше сказать не нашелся.

— Грозно не смотри, мне пугаться нечего,— бурчал он.

— Видать, допек он вас тут по молодости?

— У кого, может, и молодость, а у нас все одно — жись. Пойду.

Я смотрел ему вслед и думал, что дед сейчас самый счастливый человек на земле. Ну, просто один на сто миллионов. Ему удалось при жизни отомстить и увидеть поверженным своего врага. Теперь он еще долго прожить сможет, будет, может быть, очень добрым, каким никогда не был в жизни, и, если случай подвернется, даже что-нибудь очень хорошее сотворит, потому что освободился от ненависти. И перекошенное его лицо — возможно, последняя гримаса утоленной злобы.

А может быть, я это вообще не о нем, а о себе.

## 10

Появилась почти уверенность, что с того момента, как он сошел с поезда, все идет не так, как надо, словно он не там сошел, и совпадали с намеченным только его собственные действия, и оттого с неизбежностью возникают какие-то нелепые ситуации, в которых он постоянно терпит поражение и бессилен развернуть ход событий в нужном направлении. Он потерял инициативу, казалось бы, прочно заложенную во всю программу его поездки, и если отбросить всякие фантастические предчувствования, то, несомненно, это случилось все именно тогда, когда сошел с поезда.

Его передавали из рук в руки, и он вынужден был приноравливаться к этим чужим рукам, возмущаясь собственной послушностью и в то же время не имея сил к сопротивлению.

Нарастало раздражение против жены, ибо безусловно ее непростительное вмешательство было действительной причиной всех несуразностей, возникающих одна за другой с определенного момента его путешествия. Уже не раз произносился гневный монолог, и если поначалу он бывал назидательно-укоряющего характера с быстро следующим прощением, то после разговора с Будко это уже был резкий и грубый выговор с применением крепких слов, с воображаемым хлопаньем дверью и продолжительным игнорированием покаяния и слез, хотя встреча и разговор с бывшим односельчанином предусматривались в его программе, он это понимал, но во власти негодования уже не способен был отделить одни неприятности от других, потому что гнев требовал выявления простейшей, элементарной причины, у которой должно быть конкретное лицо. И когда он представлял лицо жены в слезах, ему становилось немного легче и все происходящее не казалось более столь безнадежно дурным.

Однако душа его раздиралась столкновением самых противоречивых чувств, из которых какие-то в прошлом были ему совершенно не свойственны и чужды. Оскорбительно было сознавать, что они, эти чувства, мелки и нестоящи, что он унижен ими не только в собственных глазах, но и в чужих глазах он словно видел беспощадное отражение своего униженного достоинства.

Сложна и мудра была схема, по которой он оценивал свою жизнь. Объективность оценки обеспечивалась добросовестным и беспристрастным учетом бесконечного множества факторов внешних исторических и субъективных личностных, и положительный знак в конце громоздкой формулы был выверен тысячекратно. В формуле смысла жизни присутствовали и знаки с отрицательным значением как неизбежная составная часть любой человеческой судьбы.

Но вот сейчас случилось так, будто некий близорукий злоумышленно выковырял именно эти отрицательные знаки и потребовал объяснения, которое заведомо невозможно без учета состава всей формулы. Он, востребовавший, не по своей воле не знает о существовании высшей математики судеб и тычет тебе в нос четыре арифметических действия, чтоб ты вывернулся наизнанку, но подал доступный его пониманию смысл каждого знака.

Разве можно, к примеру, на таком уровне высказать истину о том, что крестьянство как класс в тридцатых годах было принесено в жертву идее государственного могущества? А ведь эта истина элементарна. Такая или подобная историческая жертва — это тысячи поломанных судеб. Но если, отталкиваясь от этого безусловно отрицательного знака, распространим такой подход ко всей формуле смысла государственного бытия, тогда следует признать неправомерность всякой исторической жертвы. К примеру, в сорок первом, беспокоясь о судьбах конкретных людей, следовало бы капитулировать утром же двадцать второго июня. Гитлер оккупировал бы страну, но количество конкретных жертв было бы несоизмеримо меньшим, народ остался бы, и материальная культура не пострадала. По причине расового психопатизма уничтожили бы евреев, но ведь не ради евреев были положены двадцать миллионов, а то и более. Следовательно, есть ценности, ради которых позволительно и даже должно жертвовать судьбами конкретных людей. В частности, эту вот военную жертву понимают и принимают все, в том числе и западные крикуны-гуманисты, потому что она элементарна по смыслу.

Крестьянская же политика первых десятилетий — явление более сложное, требующее для понимания его известного гражданского мужества и опыта государственного мышления. С позиции сопливого гуманизма вообще любое напряженное историческое действие есть преступление, без которого, однако же, вообще не будет истории.

Вся эта азбука политической грамотности была решительно бесполезной в ситуации, в которой оказался Павел Дмитриевич. И ведь сам усугубил ситуацию, потому что, положим, можно было не допустить панибратства с Будко. Но пошел на это. Над разумом возобладали вторичные чувства: захотелось быть понятым последним свидетелем его прошлой сумбурной жизни, когда только определялся, когда был лишь на подступах к судьбе. И еще это урок того, что даже в мыслях нельзя заигрывать с мистикой. Но проговорил же самому себе,— вот, мол, если этот поймет, то на том свете и всех остальных убедит в правильности жизни Пашки Клементьева. Воистину, образец того самого «красного словца», что сродни преступлению. Политический деятель перестает быть таковым, когда вознамеривается быть понятым всеми, и тем более теми, кому таковое понимание противопоказано.

Разумеется, разговор с Мишкой Будко не получился. Двусмысленность нарастала с каждым словом и с каждым умолчанием, но от начала разговора и до конца один из них был наступающей стороной, и когда спрашивал и когда отвечал, другой же оборонялся и ответом и вопросом. Все время казалось: вот-вот будет произнесено нечто, что сделает дальнейшее общение невозможным, а Павел Дмитриевич, пожалуй, и желал бы такого исхода, но то ли Мишка был ловок и хитер, то ли он сам притормаживал на опасных поворотах, так что по прошествии нескольких часов разговор прервался с целью продолжения его, а никак не иначе.

Для любого постороннего, к примеру, Сергея Ильича, который периодически включался в разговор, это была всего лишь трогательная встреча двух стариков-односельчан. Все было как обычно: домашняя настойка наливалась в рюмки, рюмки сдержанно позванивали, соприкасаясь, шла тихая беседа, где было много имен и местных географических названий, а чаще других звучали слова — помер, погиб, помер, погиб... Все померли и все погибли, и только эти двое по разным причинам оставшиеся в живых, воскрешали сейчас померших и погибших произнесением их имен. И потому были в этой беседе не только напряжение и двусмысленность, но и родство в тоске, в которой купалась и захлебывалась их память.

Напоследок Будко сказал:

— Хотел тебя до одного места прокатить, как, а?

— Что за место?

— Узнаешь, сам скажешь мне.

— И что там?

— Там у меня для тебя сюрприз.

Он загадочно подмигнул. И Павел Дмитриевич, уже уставший от разговора и обрадованный нормальными человеческими интонациями в голосе Будко, охотно согласился.

— А на чем поедем?

— Это пустяк,— отмахнулся Будко,— директор наш перед тобой стелется, а у него есть такая машина, «жип» называется по-американски, щас зайду к нему и договорюсь. В то место ни на какой другой машине не проберешься, только на «жипе».

Расстались они вполне сердечно, и Павел Дмитриевич поторопился облегченно вздохнуть после его ухода, потому что через какое-то время весь разговор с Будко начал по второму кругу прокручиваться в сознании, и пришло то самое состояние неудовлетворенности и раздражения, которое и породило всякие мысли о непоследовательности собственного поведения и о проступке жены...

«Жип» оказался обыкновенным «уазиком».

Помянул прошлую ошибку и дружелюбно поздоровался с водителем. Выехали к реке Рассохе и запрыгали по ухабам грунтовой дороги. Этим путем и в этом направлении уходил когда-то из деревни отставший колчаковский отряд. Хотел напомнить об этом Мишке, но передумал. Не более километра проехали и свернули влево от реки на еле видимую колею, которая просматривалась впереди не более, чем на десяток метров.

Будко слегка толкнул в бок:

— Скажешь, куда едем, нет?

Павел Дмитриевич огляделся.

— Да ведь на Змеинку? Точно?

— Помнишь,— с некоторым разочарованием ответил Будко.

Заимка с таким названием стала деревней в столыпинские времена. Чуть ли не целиком воронежское село переселилось в эти места. Еще раньше здесь был кедровник, но к тому времени то ли от пожаров, то ли от каких других напастей посохли кедры. В раскорчевке трудностей не было, корни кедра в глубину не идут, а стелются сетью вокруг ствола. Пни не нужно было выжигать селитрой, и при раскорчевке не слишком уродовалась земля.

Переселенцы долгое время жили особняком и нехотя роднились с местными, хотя особых причин для вражды не было. Земли хватало всем...

Но Павел Дмитриевич вспомнил, что на Змеинку была нормальная дорога, только шла она не от Рассохи, и теперешнее петляние по бездорожью отнес на прихоть Будко. К тому же такая красота кругом: холмы, березняки островками, заросли черемухи и диких трав, а машина плывет, как по волнам, с холма на холм... Холмов в этом месте он не помнил, красоты не помнил тоже, не до нее было, а может быть, и вообще не знал таких слов — красота земли, потому что земля была местом труда, объектом труда, а к труду этому, чего греха таить, душа не лежала сызмальства.

— Хорошо здесь.

Будко угрюмо взглянул на него:

— Чего хорошего-то?

— Ну, красиво же!

— Да ты чо! — возмутился Будко.— Память у тебя с дырами, что ли? Здесь же везде поле было. Везде! Какая гречиха росла! Нигде такой не было. А это что сейчас? Это срам людской, а не красота.

А ведь и верно, вспомнил, между деревнями никаких лесов не было, и Змеинка с их деревни просматривалась несколькими домами.

— А почему...— начал было, но Будко сердито перебил:

— Щас подъедем, увидишь.

Машина тем временем уткнулась в канаву, залитую водой, с крутым подъемом на другой стороне. Водитель вышел из машины, спустился, сапогом осторожно прощупал дно. Покачал головой. Вернулся.

— Не проедем? — усомнился Павел Дмитриевич.

— На что тогда нужна такая машина, если она тут не прорвется,— деловито ответил водитель. Подергал какие-то рычаги, крикнул: «Держись!» И с ревом мотора швырнул машину в канаву. Был момент, когда Павлу Дмитриевичу показалось, что они опрокидываются, и он левой рукой вцепился в плечо Будко, тот тоже струхнул изрядно и машинально приткнулся к плечу своего бывшего односельчанина. Машина выскочила из канавы и покатилась в травы и кустарники. Несказанно обрадованный благополучным исходом, Павел Дмитриевич, как говорится, на радостях крепко обнял соседа и расцеловал бы, но наткнулся на его взгляд, как на штык.

— Ты чего, Михаил? — спросил озадаченный.

— Вон, смотри деревню Змеинку! — с откровенным и необъяснимым злорадством ответил Будко.

Павел Дмитриевич ухватился за спинку переднего сиденья, подтянулся к лобовому стеклу. Не было деревни. Был лес, и в этом лесу стоял один-единственный дом. Конечно, все понял. Проблема неперспективных деревень оскоминой навязла в зубах не только у специалистов по сельскому хозяйству. В каком-то смысле эта тема стала даже банальной, и Павел Дмитриевич по достоинству оценил переживания старика Будко, хотя едва ли стоило семь верст киселя хлебать, чтобы увидеть всего лишь пропавшую деревню. Взглянул на него, удивился. Все то же злорадство на лице, губы дергаются, усы шевелятся...

— Не на меня, туда смотри,— грубо, почти враждебно сказал Будко.

Дом был уже рядом. И дом этот был жилым. Машина наткнулась на пень в траве и заглохла.

— Приехали,— сказал Будко.

Павел Дмитриевич открыл дверцу и уже спустил было ногу, но вдруг распахнулись сразу две двери, одна в доме, другая в сарае, что примыкал к дому, и оттуда вылетели собаки, несметное количество собак. С лаем, от которого можно было оглохнуть, они в мгновение окружили машину. Павел Дмитриевич резво втиснулся назад и захлопнул дверцу. В общем-то это были не собаки, а собачки, самая крупная не больше пуделя. Будко молча вылез из машины и, не обращая внимания на собак, зашагал к дому. Ярость шавок была неописуема. Казалось, ступи не так, и разорвут своими клыками-шпильками на крохотные кусочки. Две-три чуть ли не висели на сапогах, но не прикасались, а лишь обрызгивали слюной.

На трехступенчатом крыльце черного, скосившегося дома показалась престрашная старуха, сущая баба Яга, в цветастой юбке до щиколоток, в такой же цветастой кофте, спадавшей с усохших плеч. Седые космы ее торчали в разные стороны. Ноги были босы, искривленные большие пальцы обеих ног свисали со ступеньки крыльца желтыми крючками. Руками она стала приглаживать волосы, каким-то способом в пару движений упрятав их за затылок, а потом вдруг истошно взвизгнула, и тотчас же все собачонки взметнулись на крыльцо, уселись там чуть ли не друг на дружке и, главное, заткнулись. В наступившей тишине колокольчиком прозвенел дискантовый голосок старушки:

— Это хто это? Мишка, ты? Чего это ты приперся?

— Посмотреть приехал,— ленивым басом ответил Будко,— жива ли. Может, померла в глухомани, а никто не знает.

— Придуряешся! — обрадованно продолжала звенеть старуха.— Я вчера в деревне была, пенсию получала, тебя не видела, думала, може, помер. Беда у меня, Мишка, двоих собачек украли, рыжую такую сучку, помнишь, ну, что на задних лапках плясала, вот ее и вислоухого, что от змеи подыхал. Вот ведь хулиганье какое, а! Поспрашивай в деревне, а!

— Совсем ты ополоумела! Кому нужны твои дворняги! А вислоухий завсегда с лишаем бегал.

— Сам ты лишайный! Да хошь знать, когда лишай...

Водитель обернулся к Павлу Дмитриевичу, сказал с удивлением и даже восхищением:

— Надо же, какая упрямая старуха! Помирать здесь собралась. Четвертый год одна. Зимой шесть километров по сугробам в магазин топает. Шесть туда, шесть обратно. И всех этих паразитов кормит на свою пенсию. На две козы сена накашивает, а ведь в чем душа держится, дунь и переломится. Тронутая.

Павел Дмитриевич хотел расспросить подробнее, но Будко подал ему знак, чтоб подошел. Покосившись на собачью свору, бесшумно вылез из машины. Ноги затекли и не сразу послушались, но доковылял до крыльца. Увидев его, старуха встревожилась.

— Хто это с тобой, Мишка? Насчет дому опять? Бензин бы пожалели. Аж с району, похоже, да? Мишка, ты скажи ему...

— Да заткнись ты! — заорал Будко.

Павел Дмитриевич надумал уже было представиться, но тот опередил его и вогнал в столбняк:

— Ты заткнись на минуту, глаза свои слезливые протри подолом да посмотри зорче. Глядишь, и признаешь кого.

С осторожностью перешагивая через собак, она спустилась с крыльца и уставилась своими рыбьими глазами. Лицо ее замерло в гримасе любопытства, приоткрылся почти беззубый рот, два длинных белых волоска на бородавке у подбородка подрагивали...

«Боже мой! Кто это может быть?» — думал Павел Дмитриевич. Разве можно узнать женщину на такой стадии дряхлости!

Приглядывание затянулось, и Будко задергался:

— Ну, чо, признаешь, нет?

Старуха жалостливо застонала:

— Вот колодец у меня, нигде такой воды нету, с району пить приезжают, починить надо, а в сельсовете говорят, не ихняя, вишь, территория, а бобровские говорят, ты не у нас прописана, а сруб в прошлом годе еще подвалился. Пить все ходят, а поправить никто...

Разъяренный Будко грубо дернул ее за руку:

— Ты что мелешь, дура беззубая? Притворяесся? Говори мне громко, кто это такой перед тобой!

Добрые полтора десятка собак зарычали, оскаливаясь клыками.

— Чего растолкался тут! Кликну собачкам, враз от тебя одни сапоги останутся.

— Чихать я хотел на твоих недоделков,— огрызнулся Будко на шавок, однако же кинул опасливый взгляд. Сказал уже тоном ниже: — Так не признаешь, али притворяесся?

— Може, из собесу хто, пенсия у меня шибко маленькая...

— Смотри, старая, это Пашка Клементьев, полюбовник твой давний! Ну!

Словно белое полотно протянули перед глазами, отгородив весь мир. Тупая боль поясом охватила голову через середину лба и сошлась на затылке. Зренья не было, но слух был, словно стреляли в уши или застреливались туда.

— Ну, вспомнила? Пашка! Что братана твоего пострелял на Божеполье! По скирдам с которым греховодничала!

Медленно возвращалось зрение. Старуха, задрав голову, смотрела на него немигающим взглядом.

— Болтаешь ты, Мишка, сам не знаешь чего. Нет, чтобы колодец мне починить, и надо-то всего пару бревешек добрых.

Будко изогнулся, заглянул ей в лицо.

— Никак, тронулась умом. Ну а ты-то,— подступил он к Павлу Дмитриевичу,— узнаешь Свешникову Ульянку, подружку свою, дочку кулацкую, котору обгулял да с Богом на север справил?

Павел Дмитриевич, не оборачиваясь, медленно положил руку на плечо Будко, так же медленно пальцы, как челюсти экскаватора, сжались в мертвую хватку. Дряхл, но не слаб еще был Мишка, и весом не на много меньше земляка своего, но отлетел в сторону на куст жимолости. Шавки на крыльце забесновались...

— Ульяна...— Голос сорвался. Он дергал головой и шеей, избавляясь от судороги.— Ты... ты...

Старуха словно очнулась.

— Ты чо хулиганишь! Мишу мне не забижай! Ишь какой здоровый отыскался! Без Мишки мне никто и чекушки не поднесет. Миш, а нынче у тя ничо нету?

— Эх ты, дура старая, испортила мне весь сюрприз! Пашка, поехали назад! Не хочет она тебя признавать. А почему, думаешь, не хочет? Гордая потому что.

— Ульяна...— попытался снова что-то сказать Павел Дмитриевич, но она только рукой махнула:

— Выпить нет, так и что с вами говорить. Езжайте себе...

Она заковыляла к крыльцу, расталкивая собак, и не обернувшись вошла в дом.

Почти наощупь добрался Павел Дмитриевич до машины, долго не мог открыть дверцу, помог шофер. «Ну и дела!» — бормотал он, усаживаясь за баранку. Будко подсел с другой стороны.

— Давай, что ли! — крикнул зло.

Машина заметалась меж кустов и деревьев, выскочила на колею и понеслась прочь от бывшей деревни Змеинки. Оглянувшись, Павел Дмитриевич увидел на крыльце только собак, смотревших им вслед.

— Господи, как сон...— не сказал, а выдохнул Павел Дмитриевич, растирая рукой лоб, где сейчас сконцентрировалась острая ноющая боль.

— Ишь ты, сон! — проворчал Будко.

— Ведь помнил же, что ты гад, но думал, изменился с годами.

Будко не обиделся. Ответил спокойно:

— Это ты был гад. А каким стал, не мне судить.

Нужно было сказать что-то такое, чтобы уничтожить, чтоб мордой в пол, чтоб заткнулся наконец, но не было слов, потому что не было мыслей. Буркнул только:

— Смелый...

— Да уж,— ответил тот,— повезло хоть на хвосте жизни посмелеть. Степка Горбунов так и помер, не изведав. А тебе и еще скажу. Ты думаешь, что Ульянку Свешникову посмотрел, какая страшная стала? А вот нет, товарищ начальник, это ты в зеркало посмотрел, это ты такой, а она безвинная...

Водитель, видать, слишком прислушивался к разговору и сквозь траву вовремя не угадал канаву. Машина буквально прыгнула передними колесами в яму. Голова Павла Дмитриевича мотнулась так, будто его сзади ударили по затылку. Он вскрикнул и потерял сознание.

С отъездом отца в первые дни вроде бы ничего не изменилось. Ходила на занятия. Последние дни перед каникулами. Гуляла по Москве и играла, как всегда, много и с удовольствием. Однажды зашла в комнату и села сзади мама. Так бывало очень давно, на самых первых уроках. Учительница разминала ей пальчики и открывала тайну получения звука, а мама тихо сидела сзади, наблюдала и поощряла кивком головы, когда дочь оборачивалась к ней.

И вот сейчас вошла тихо и тихо села в кресло в углу. Наташа улыбнулась ей и продолжала играть. Как всегда, заигралась, о матери забыла, а когда не менее, чем через час, оглянулась, то даже вздрогнула от неожиданности. Мама сидела в той же позе, и если бы глаза ее не были широко открыты, то можно было бы подумать, что спит.

Была поражена выражением ее лица. Обычно очень подвижные черты его словно застыли в перехвате какой-то трудной мысли и окаменели вместе с этой мыслью, прекратив жизнь лица.

— Мама! — прошептала Наташа испуганно.

Глаза тут же ожили и расцвели в ее обычной доброй улыбке.

— Мама, ты что?

Она подошла, обняла дочь за плечи, но как-то слишком крепко, и долго держала ее в этих крепких объятиях. Наклонилась, сказала в ушко:

— Ты такая взрослая... Как-то у тебя все будет...

— Что будет?

— Все. Жизнь, судьба... Господи, это так сложно.

Наташа повернулась, взглянула в глаза матери:

— Разве ты не счастлива, мама?

— Ну вот,— рассмеялась,— только что взрослой тебя назвала. Счастье, это знаешь что? Летающая тарелка. Утверждают, что видели, а что именно видели, не знают. Между счастьем и несчастьем, дочка, лежит громадная нейтральная полоса. Носит, носит тебя по этой полосе, и никогда не знаешь, к какому берегу ближе...

— Как там папка наш...— сказала Наташа.— Тебе не тревожно?

— Раз известий нет, значит, все нормально.

Потом Наташа еще долго играла одна.

И все же с мамой что-то происходило. Наташа заставала ее то за книжкой — а застывший взгляд мимо, то перед зеркалом — ладони в подбородок и те же невидящие глаза. Или у телефона. Стоит и смотрит на него, как будто кто-то вот-вот должен позвонить. Вдруг внезапные объятия... странный взрыв нежности — обнимет и молчит,— а потом забывает о существовании и смотрит как сквозь стекло.

И раньше не раз бывали долгие отлучки отца, на месяц и более, но не помнит Наташа такого состояния матери.

Чуть позже догадалась, что и сама заразилась каким-то беспокойством. Беспокойство было беспредметным и возникало чаще всего от реакции на какой-нибудь сущий пустяк, например, треснула рамка на портрете Ахматовой. Еле заметно, но вдруг слезы подступили, и когда музыкой пыталась подавить неприятное состояние, оказалось, что играет Бог знает что. Ее послушные пальцы выходили из послушания и безобразничали, гримасничали нелепыми аккордами, корчились в судорогах пошлых ритмов и помимо ее воли фамильярно импровизировали на темы, запретные для вольного обращения с ними.

Правда, было достаточно причин и для реальных тревог. Катастрофически сужался мир, в котором пребывала Наташа. Когда-то ему не было границ, потом вдруг она обнаружила их существование, это сразу после ухода отца на пенсию. Затем границы двинулись внутрь и начали красть одно пространство за другим. Последняя потеря территории опять-таки оказалась связана с именем Ахматовой. Наташа не пропускала ни одного вечера, посвященного любимой поэтессе. И в этот раз, когда ехала чуть ли не через всю Москву в какой-то районный Дом культуры, о существовании которого ранее не подозревала, была готова к маленькому празднику души. Радостно было слышать, как совершенно разные люди произносят чаще всего известные строки, а зал при этом воспринимается как молчаливый коллектив единомышленников, и убеждаешься лишний раз, что, кто бы ни читал Ахматову вслух, плохо читать не может, таково уж свойство подлинного таланта. Всяк читает хорошо, но лишь по-разному, по-своему.

Но этот вечер начался не со стихов, а с разоблачений и обличений, это был почти митинг, как попало подпертый чтением стихов, подобранных по тематике и потому, как показалось Наташе, искажающих и обидно принижающих образ поэтессы, тонкой, умной женщины, которой, именно как женщине, было свойственно все...

Известный поэт-крикун истерично взвизгивал на сцене, грозясь поименно вспомнить всех преследователей всех поэтов. Потом еще более нервная девица ругала бюрократию, партократию, намекала на тупоумие и самодурство партийных лидеров, а Наташа сидела, вжавшись в кресло, в ожидании, что вот-вот кто-то произнесет фами-

лию отца, и тогда она вскочит и скажет им всем, что они ничтожества и бесы, ее освистают и вышвырнут из зала.

Она успокаивала себя тем, что знает и понимает Ахматову лучше их всех, что могла бы кое-что рассказать им, к примеру; об увязанности стихотворных ритмов Ахматовой с конкретными музыкальными темами. Она сама открыла эту тайну и наслаждалась, обнаруживая всякий раз все новые и новые нюансы музыкальности ахматовских стихов.

Еще оставались музеи и тематические выставки. Это пока еще была ее территория, хотя и туда уже проникал дух социальной истерии, охвативший столицу.

К телевизору она не подходила. Мама же, наоборот, словно помешалась. Часами слушала всякие заседания, круглые столы, интервью. Наблюдая за мамой в такие часы, замечала, что иногда у нее шевелятся губы, словно она выучивает наизусть услышанное.

Однажды не выдержала, подошла.

— Мама, зачем ты все это смотришь? Они же все против нас.

Не отрываясь от экрана, мама обняла ее за талию, притянула к себе.

— Да, они против нас. Но они еще и друг против друга.

— Они хотят нас уничтожить, да?

Наташа опустилась на колени, прильнула к матери. Та гладила ее волосы и продолжала смотреть на экран.

— Понимаешь, это только кажется, что они все одинаковые. Одни в бесовстве до конца пойдут, другие одумаются, и надо именно сейчас знать кто...

— Зачем нам это, мама? Ведь папа туда больше не вернется, ему же нельзя туда.

— Не знаю, Наташенька, не знаю... Туда ему, конечно, нельзя. Да и не нужно...

— Я все равно не понимаю, мама...

— Я тоже. Я тоже многого не понимаю...

Однажды затащила мать на выставку Васнецова. Внимательно наблюдала за ней и уже по пути домой спросила:

— Тебе понравилось?

— Конечно.

Наташе показалось, что это «конечно» прозвучало както слишком легко и поспешно.

— А почему тебе понравилось?

Мать пожала плечами:

— Наверное, так вопрос ставить нельзя.

— Тогда скажи, мы правы?

— В чем? — удивилась она.

— В том, что ходим и смотрим это. Именно это! И именно это нам нравится, а не то, другое — кубиками и мазками. Очень важно, мама, если мы правы, что смотрим это, а не другое, значит, мы правы вообще.

Мама рассмеялась и на ходу чмокнула дочь в щечку.

— Теперь понимаю. Ты хочешь найти простое и ясное доказательство того, что прав, положим, папа, а не тот, кто теперь на его месте? А в действительности он прав потому, что он твой отец.

— Ты мне это уже однажды говорила. И мне этого мало.

— Вот видишь,— почему-то печально вздохнула она,— а мне этого вполне достаточно. А насчет того, о чем спрашиваешь, я очень даже могу допустить, что тот прохвост, который все разрушает, он тоже любит Васнецова... Если он вообще что-либо любит. Нет, пожалуй, твое доказательство слабовато. Поищи другое.

Последние слова прозвучали почти холодно. Наташа сделала вид, что не заметила этой холодности, и продолжала:

— Я верю, что папа прав. Но... но если б оказалось, что он не прав... Я бы тогда уехала в его деревню навсегда и учила бы там детей музыке.

Потом она не хотела вспоминать, какое было лицо у матери. Но и не забыла.

Иногда у нее создавалось впечатление, что мама не просто слушает всяких болтунов по телевизору, но что она и активно участвует в чем-то, потому что порой исчезает куда-то на полдня и более, а когда однажды спросила ее, ответила неправду, врать не умела.

Примерно через неделю после отъезда отца Наташа была одна в квартире, когда зазвонил телефон. Она почти никогда не брала трубку, не взяла и сейчас. Через две-три минуты звонок повторился и звучал долго. Когда Наташа подошла, замолк. Она постояла, подождала. Пошла к себе. Когда уже закрывала дверь, звонок настиг ее, и она кинулась в гостиную.

— Любаша? — услышала она чей-то мужской голос и онемела. Так маму называл только отец. Но это был не он. Это был чужой.

— Любаша? — уже менее уверенно повторил тот же голос.

— Кого вам нужно? — срывающимся голосом спросила Наташа.

Была пауза. Наташа почувствовала, как слабеют ноги, еще секунда, и она опустилась бы на пол.

— Мне нужно Любовь Петровну.

Теперь в голосе была злость. Или досада?

— Она... она скоро будет,— уже почти шептала.

— Меня зовут Жорж. Пусть немедленно позвонит мне.

То, что человек не бросил трубку с самого начала и уж, тем более, назвал себя, если не успокоило, то, по крайней мере, привело Наташу в чувство. Но само открытие, что на свете есть какой-то Жорж (одно имя чего стоит, пошлее не придумаешь), смеющий называть маму Любашей, и это «пусть немедленно»,— возможно ли?! С трубкой в руках она опустилась на пол. Сидела не шевелясь. В этой позе ее и застала мать.

— Господи! Что с тобой?! — всполошилась она, подбегая к Наташе и опускаясь рядом на колени. Взяла трубку из рук дочери, положила на аппарат, стала выщупывать пульс.

— Доченька, что с тобой? Тебе было плохо?

— Мама, кто такой Жорж?

Лишь на мгновение окаменело лицо матери, на секунду, не более. Быстрый взгляд на телефон, на дочь, снова на телефон.

— Он звонил?

— Мама, кто это?

— Я тебя спрашиваю,— голос ее зазвучал металлом,— он звонил?

Наташа кивнула.

— Что сказал? Ну!

— Чтоб ты...

Даже договорить не успела. Мать оттолкнулась от нее так резко, что Наташа чуть не опрокинулась на спину. Потом, задрав голову, сидела и смотрела на мать, на ее пальцы, промчавшиеся по цифрам телефонного диска, и тихое, теплое спокойствие входило в ее душу, окутывало ее, усыпляло. Наташа обмякла и всхлипнула.

— Жорж? Что?

Мама кусала губы и бледнела.

— Когда?

Наташа поднялась, подошла к матери, обняла ее.

— Ты можешь мне зачитать?.. Спасибо, Жорж... Конечно... Сегодня же... Спасибо... Пока...

Трубка не легла, а упала на аппарат.

— С папой плохо,— сказала она и, кажется, только сейчас почувствовала на себе руки дочери.

— Мамочка, прости меня! — прошептала Наташа.

— Ты что, не поняла? С папой плохо... Я вылетаю...

— Мы вместе...

Мать пристально посмотрела на нее.

— Два билета — не один. Но попробую. Найди голубую сумку. Должна быть на антресолях. Собирай. Я займусь билетами.

Телефонная трубка уже в руках. Она трет переносицу, она вспоминает телефоны...

Наташе было стыдно. Ей очень было стыдно. Стыд накатывал волнами, она хваталась за щеки и чувствовала, как они пламенеют под ладошками. Пока была суета сборов и всякие хлопоты, ей удавалось не думать о своем позорном поведении, но здесь, в самолете, стыд пристегнул ее к креслу прочней ремня. Что бы она отдала, лишь бы не сидеть сейчас рядом с матерью! Все ждала: вот сейчас мама обернется и скажет ей справедливые слова, и ей нечего будет ответить и останется только разреветься. Но мама, как только села и пристегнулась, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза.

Наташа хотела избавиться от тягостного состояния, пытаясь себе самой объяснить, как могло случиться, что она плохо подумала о маме. И как могло случиться, что после того, как убедилась в ошибке, не огорчилась болезнью отца, состояние которого и сейчас неизвестно.

Конечно, все началось с внезапной перемены в их жизни, вызванной отставкой отца. Она просто обязана честно признаться самой себе, что ей было досадно и обидно, что было уязвлено ее самолюбие, что, наконец, она упрямо не хотела понять тех серьезных мотивов, которыми руководствовался отец, принимая решение, неизбежно влекущее за собой массу самых разнообразных последствий.

И поездка в Ленинград, разве это был не вызов семье, вот, мол, я какая, хочу объективно судить об отце с матерью, а не как все прочие иные дети иных родителей. Глупая жажда объективности обернулась постыдным хамством, которое можно только искупить словом или действием. Случай представится.

Мама, оказывается, заснула, и Наташе пришлось основательно потормошить ее, когда стали раздавать завтрак.

Курица была ужасной, один ее вид способен был надолго лишить аппетита. Свежей оказалась булочка, и они ограничились чаепитием. Потом долго сидели в ожидании, когда стюардесса избавит их столики от подносов. Запах давно варенной курицы, казалось, заполнил весь самолет. Сидящие сбоку на другом ряду ожесточенно рвали зубами куриные куски и затем подолгу меланхолически ковырялись в зубах.

Очень хотелось, чтобы мама о чем-нибудь поговорила с ней. Но как только освободился столик, мама снова откинулась в кресле и закрыла глаза. В другое время обиделась бы, но сейчас не могла себе этого позволить, отвернулась к иллюминатору и стала рассматривать космы тумана, что пластались внизу и длинными рваными рукавами будто пытались дотянуться до железной птицы и затормозить ее скольжение в пустоте. Если прислониться к иллюминатору так, чтобы ничего предметного не захватывал взгляд, а щекой ощутить холод космоса... и ровный гул мотора, убивающий все прочие звуки,— то можно вообразить себя бестелесной душой, вознесшейся над миром, порвавшей всякие связи с ним, душой, ни о чем не тоскующей, но познавшей торжество великого одиночества... И гул мотора — это уже не гул, но оркестр из тысячи инструментов, в его звучании проговариваются слова:

*И мнится мне, что уцелела*
*Под этим небом я одна,*
*За то, что первая хотела*
*Испить смертельного вина.*

Когда-то Наташу весьма огорчало, что отец не воспринимает музыку и стихи, особенно стихи. К музыке в какой-то мере она его приучила, а иногда, правда, не часто, но все же он с удовольствием слушал ее игру. К стихам же был глух совершенно. Потом она нашла этому объяснение. Мужчина не может и не должен чувствовать поэзию так, как это свойственно женщине, потому что поэзия вообще есть открытие, обнаружение женского начала в природе, а то, что поэты чаще мужчины, не противоречит сказанному, просто таинственное природное начало выявляет себя в противоположном, и тогда становятся объяснимы превратности судеб великих поэтов. Как личности, они, как правило, уязвимы и беззащитны, их реакция на внешнюю среду женственна по сути, но они этого не понимают, и их конфликт со средой всегда в действительности лишь внутренний разлад, столкновение мужского и женского начала, а потому и неадекватность поведения, и как следствие — гибель. Они, поэты, любят и влюбляются и ведут себя в любви как женщины, то есть выказывают такую силу чувств, на какую способна только женщина, и что настоящему мужчине противопоказано, ведь у него другое предназначение в мире — искушать мир изменениями, в то время как женщина через любовь являет постоянство и вечность живого...

А если вспомнить мужчин, поклонников поэзии, сверстников, кого знала,— они все слегка женоподобны. И потому, когда мужчина глух к поэзии, то это признак недостатка образования, но не интеллекта.

Наташа очень гордилась этими своими соображениями. Она даже не пыталась высказывать их кому-либо, боясь оказаться неубедительной в попытке переложить мысли в слова, ведь иное слово всяк по-своему перетолковывает.

Было десять утра, когда самолет после долгих маневров вырулил к зданию аэровокзала. Вылетев вовремя, они, тем не менее, сумели каким-то образом опоздать на полчаса, и мама засуетилась, торопясь поскорее выйти. Волнение ее оказалось напрасным. Еще на верхней ступеньке трапа Наташа заметила чуть поодаль черную «Волгу» и представительного человека в сером плаще рядом с ней. Как только они отделились от общего потока пассажиров, «некто в сером» быстро двинулся к ним навстречу.

— Любовь Петровна! Ждем вас. Зампредисполкома Диких Борис Егорович. Андрей Ильич просил извинить, что сам не может вас встретить. В девять в обкоме совещание. Но все в порядке. Самолет готов. Через сорок минут мы в районе. Там машина. Еще час, и вы на месте. К сожалению, обратно, возможно, только завтра в полдень, иначе никак не состыковать самолеты. Есть, правда, один маленький шанс на сегодня, я его проработаю, но не обещаю...

Все это он проговорил почти без запятых, постоянно заглядывая маме в глаза, и улыбался, улыбался. А мама почему-то отвечала ему сухо, и Наташа, зная все выражения ее лица, видела, что она сердита. Причины же не понимала.

Машина лихо описала вираж вокруг лайнера и помчалась вдоль взлетной полосы прочь от аэровокзала.

Повернувшись к маме с переднего сиденья, «серый» сказал:

— Звонили два часа назад. Самочувствие Павла Дмитриевича хорошее, ходил гулять. Врач постоянно при нем. Вас ждут. Так что ни о чем не беспокойтесь.

Мама опять очень сухо сказала «Спасибо!». Наташе стало неловко за ее тон. А тот словно не замечал и, щедря улыбкой, уже во второй раз пересказал маршрут предстоящих передвижений.

Покрутившись по асфальтным дорожкам, машина уткнулась в маленький самолетик, похожий на стрекозку, который тут же затарахтел и затрясся мелкой дрожью. По неудобной металлической лесенке они, перегибаясь пополам, влезли в нутро урчащей стрекозы. Мама даже не обернулась и не поблагодарила сопровождающего. К ним

подошел один из пилотов и, как бы извиняясь, объяснил, что самолет, конечно, без удобств, но зато надежен, не то что летающие баржи, которые, двигатель отказал, колуном на землю падают, а этот на одних крылышках на любой пятачок спланирует. После такого обнадеживающего вступления пилот пригласил Наташу посидеть за управлением. Не раздумывая, она поднялась со скамейки вдоль борта, где они уже устроились с мамой, и пошла за пилотом. Второй пилот без особой радости уступил ей место. Она села и решительно положила руки на штурвал.

Была полная иллюзия того, что именно она оторвала самолет от земли и кинула его в пространство, что по ее воле земля качнулась сначала влево, потом вправо и затем определилась там, где ей положено быть,— под ногами. Подумалось, что если бы сейчас видеть все вот это и играть, то наверняка родилось бы что-то необычное, возможно даже, великое. Недвижно лежащие на штурвале пальцы напряглись, как это бывает перед ответственным исполнением, тревожные нервные импульсы цепочкой уколов пробежали по кончикам пальцев, и желание играть стало нестерпимым.

Наташа поблагодарила пилотов за удовольствие и вернулась к матери. Как ни мал был самолетик своим нутром, двоим в нем все же было неуютно, к тому же он весь дрожал и то и дело проваливался в воздушные ямы, тогда они обе вцеплялись руками в скамейку, чтоб не потерять опору, потому что потеряй ее, казалось, и будет тебя пустой консервной банкой швырять из одного самолетного нутра в другой, и некому даже ухватить и придержать...

Первый пилот снова подошел к ним и извинился за всякие неудобства, и мама, слава Богу! хорошо улыбнулась ему. Славный ведь парень! В ответ на мамину улыбку он похвастался, что при хорошем встречном ветре может поднять машину на пятидесяти метрах разгона. Мама бровями изобразила, как она поражена таким сообщением, и польщенный пилот вернулся на свое место.

«Волга» серого цвета подкатила вплотную к самолетику. С мамой же творилось что-то непонятное. Когда водитель вышел ей навстречу и пригласил в машину, она побледнела, и ее «спасибо» скорее всего даже не было и услышано, так тихо оно было произнесено сквозь сжатые побледневшие губы.

— Мама, что с тобой? — прошептала Наташа, как только машина тронулась.

Мать обняла ее, крепко сжала:

— Это конец, доченька!

— Что ты говоришь! — вскрикнула Наташа. Водитель встревоженно оглянулся.— «Серый» сказал, что папе лучше! Что ты говоришь!

— Да, да! Папе лучше... Не обращай внимания... Я устала...

Наташа пыталась заглянуть ей в глаза, ей показалось, что мама вот-вот заплачет, но она отвернулась и мягким движением руки попросила Наташу сидеть спокойно.

Устала? А почему бы нет? Почему бы ей действительно не устать. Наташа привыкла к тому, что мама всегда в форме, всегда в действии с минимумом лишних движений и слов. В сущности, при всей своей любви к матери, она воспринимала ее как хорошо отлаженный механизм, обеспечивающий ей, уже взрослой дочери, спокойствие и комфорт. Это ужасно!

Теперь Наташа решила для себя, что, возвратившись домой, начнет новую жизнь. Раньше она словно спала, ее глаза были устремлены внутрь, она рассматривала себя, свои мысли и чувства, что-то с радостью открывала в себе, от чего-то ужасалась, но так или иначе была занята исключительно собой, всем прочим же лишь уделяя частицы внимания и интереса. Теперь будет не так, ведь она поняла, что самое главное это как раз то, что вокруг нее.

Она знала, что отныне взгляд ее будет внимателен ко всему хорошему, она чувствовала, как накапливается в ее душе нежность, предназначенная внешнему миру, прежде всего миру близких ей людей, она догадывалась, сколько добрых поступков подскажет ей ее новое открытие мира, ведь раньше у нее будто не было рук, не было слов для свершения доброго и уместного. Они все вернутся домой другими людьми. Почему это должно случиться со всеми, она еще не знала, не успела обдумать эту догадку, на обратном пути у нее будет достаточно времени, и она вычислит и сформулирует принцип счастья их семьи, счастья, которого не было в полноте, потому что она до сих пор была лишь пассивным потребителем его, она лишь брала, но ничего не возвращала... Скорей бы домой!

Въезжая в деревню, шофер притормозил, у первой же бабульки спросил, где дом директора школы, и, получив подробнейшие объяснения, уверенно покатил по деревенской улице.

Наташа увидела отца еще из окна машины. Он сидел на крыльце с каким-то мужиком. Она видела, как оживилось его лицо радостью, когда они только выбрались из машины. Совсем по-молодому он вскочил и поспешил к калитке, и Наташе достались первые объятия, а не маме, хотя, конечно, она их заслуживала больше. Увидев, как болезнь прогулялась по его лицу, Наташа чуть не заплакала, слезы выступили на глаза, и отец был тронут этим чистым проявлением любящей души. Потом был столь же трогательный дуэт мамы с папой. Вот только с маминым лицом что-то все же произошло. Ее глаза, ее прекрасные зеленые глаза, главное украшение лица, нынче словно выпадали из общего его состояния. Они не улыбались и не плакали, когда она улыбалась и плакала, они не подтверждали слов, что она произносила, они не участвовали в ее чувствах. И вообще было впечатление, что из них двоих серьезно больна именно мама.

Наташа чуть отстранилась, чтобы не смущать их и не препятствовать воркованию, ее всегда слегка бросало в краску от родительских взаимонежностей, но она всего лишь отстранилась и не могла не услышать фразу отца, поразившую ее своей интонацией.

— Увези меня отсюда, Любаша! Сегодня же! Можно?

Мама же почему-то только всхлипывала, причем глаза ее оставались сухими, и она бессмысленными движениями зачем-то поправляла то один угол воротника его рубашки, то другой и кивала, кивала... Полуобнявшись, они пошли к крыльцу, и здесь, не отрываясь от мамы, отец познакомил ее и Наташу с Сергеем Ильичом, директором местной школы и хозяином дома, где он остановился. Потом Наташа жала руку его дочке, милой простушке с ямочками на щечках, улыбчивой и доброжелательной. А затем был сюрприз, к которому Наташа никак не могла быть готовой.

— А это мой друг и подлинный ангел-хранитель, и потому прошу не просто любить и жаловать, но полюбить всей душой! Артем.

Неделю назад в вагоне на проводах отца, проходя мимо, уверенная, что видит этого парня первый и последний раз в жизни, она сказала себе без особой грусти: «Вот! Он бы мог стать моей настоящей любовью с первого взгляда. Но так не бывает». И добросовестно забыла его навсегда.

Случилось то, что ей совершенно не нужно. Или, по крайней мере, не сейчас, не здесь... Но ведь чудо же! А случаются ли чудеса просто так? Просто так чудеса не случаются. Тогда, в вагоне, он посмотрел на нее не очень дружелюбно, но очень пристально. Может быть, и у него мелькнула та же мысль, и потому сейчас он тоже должен быть потрясенным... ну, пусть не потрясенным, пусть хотя бы только шокирован игрой случая, совпадения, как еще назвать? Ей очень хотелось убедиться в своем предполо-

жении, и она, уже отойдя, не запомнив рукопожатия, оглянулась. Нет, взгляды их не столкнулись, и, огорчившись чуть-чуть, Наташа гораздо больше обрадовалась, потому что столкновение, произойди оно, могло не только выдать ее собственное состояние, что недопустимо, но и слишком поспешно завязать некий узелок отношений, который, как известно, с такого пустяка — неосторожного взмаха ресниц — способен ускорить, а значит, опошлить узнавание человека, воистину чудом возвращенного из, казалось бы, неизбежного «здравствуй и прощай». Нужно уважать чудо, нужно дать ему возможность длиться столько, сколько хватит собственных сил чувствовать и воспринимать его. И потому она ни за что не спросит ни у кого, как и почему он здесь оказался. Ясно, что это случайность, а в чем ее суть — вторично и неинтересно.

Прежде чем сесть за стол, все еще долго слонялись по комнатам, кругами ходили вдоль допотопных сервантов и шифоньеров, о чем-то говорили вразнобой и невпопад. Наташа тоже что-то спрашивала и отвечала и передвигалась вместе со всеми от серванта к шифоньеру, все более раздражаясь какой-то демонстративной провинциальностью обстановки и еще более тем, что всякий раз, когда представлялась возможность встретиться со взглядом Артема, кто-нибудь непременно оказывался между ними, чаще розовокофточная дочка хозяина дома, демонстрирующая всем присутствующим свою рыжим вельветом обтянутую задницу.

За столом она, конечно же, оказалась рядом с Артемом. Наташе не захотелось даже пожалеть ее, так нелепо было это соседство. Она ведь еще тогда, в вагоне, все поняла про этого парня. Такие лица ей были хорошо знакомы по обложкам музыкальных альбомов. И всех, когда-либо заинтересовавших ее людей, она приговаривала к тому или иному типу... Артем был рахманиновского типа... Разумеется, не о внешних чертах речь...

Артем оказывал явные знаки внимания розовой кофточке, но Наташу это не задевало, она знала — достаточно какой-то одной ее фразы, и он откликнется, как на пароль, надо только найти эту фразу-пароль, посредством которой родственные души узнают друг друга в чужой или враждебной среде.

Они сидели напротив. Взгляды их не могли не схлестнуться. Это было. Его взгляд ей ничего не сказал. Она и не ждала. Он же не знает, не подозревает... Он так долго жил в чужом мире, что разуверился, утратил чутье, возможно, он даже решил, что вообще один, ведь ей такое казалось, а если один среди чужих, то с чужими можно жить только по их правилам, и одно из этих правил — физиологическое влечение мужчины к женщине, удовлетворение этого влечения на уровне элементарной жизненной функции и соблюдение определенных обязательств, продиктованных характером физиологического контакта. Для розовой кофточки в контакте с последствиями — и цель и смысл, начало и конец, для него — это мизер, вынесенный за скобки внутреннего духовного опыта, она даже подозревать не будет о наличии скобок и, натыкаясь на это неподозреваемое, каждый раз будет причинять ему боль, пока он к этой боли не привыкнет.

Коварство ситуации в том, что времени практически нет. Завтра они уедут. А нужно было бы дать ему возможность проверить себя с кофточкой. Сейчас он в роли мужика, реагирующего на доступность, так пусть бы утолил жажду, ведь у жаждущего притуплены все чувства, что выше пояса.

Ах, если бы иметь в резерве хотя бы два дня!

Наташа взглянула на отца и будто очнулась. За столом шел разговор о земельной реформе, об арендах и подрядах. Произносились тосты какого-то странного, двусмысленного содержания. Отец при этом лишь поднимал бокал с вином, но не пил, а мама, наоборот, пила и не морщилась от доморощенной сивухи. Наташа лишь пригубила и задохнулась от омерзения. Продолжая подглядывать за отцом, она отметила, что в его лице появилось ранее не свойственное ему выражение, какая-то странная смесь благостности и тревоги, еще суетливость, он постоянно оборачивался то к одному, то к другому, и при этом выражение лица всякий раз менялось, и почему-то неприятно было это видеть, что-то вроде обиды, а может, даже стыда испытывалось, когда он вдруг почти заглядывал в глаза сидящему слева хозяину дома, потом резко поворачивался к маме или вдруг подтягивался через стол к Артему, что-то говорил ему, выслушивал его или розовую соседку Артема, вещавшую какие-то банальности птичьим голоском. А еще папа слегка почавкивал, а мама не одергивала его, как обычно.

Только кончилось застолье, как появился врач районной больницы, присланный еще вчера распоряжением райкома. Оказывается, воспользовавшись удовлетворительным самочувствием пациента, он с утра смотался на рыбалку. Теперь он был сконфужен и не знал, куда девать полдюжины мелких хариусов, пока кофточка, хихикая и подмигивая, не освободила его от жалкого улова. Было ему лет тридцать, он робел под суровыми взглядами мамы и суетливо поспешил за ней в другую комнату по небрежному ее мановению.

Папа с хозяином дома вышли на крыльцо для продолжения беседы о состоянии сельского хозяйства, кофточка куда-то исчезла с рыбой, и Наташа с Артемом остались вдвоем в псевдогостиной.

Некая заготовка на такой случай у Наташи была, но что-то случилось с языком, с лицом, оно словно окаменело, не было способности привести в движение губы хотя бы для улыбки. Улыбка ведь тоже слово...

— На какой почве будем общаться? — спросил Артем, глядя ей прямо в зрачки, так ей показалось, не в глаза просто, но в зрачки, словно своим взглядом цеплял, как ловушкой, ее взгляд и не позволял увернуться.

Сто вариантов реакции могло бы найтись и на его тон, и на слова, сто первый, что вывернулся из какого-то глухого закоулка мозга, оказался не лучшим:

— А без почвы... это ты можешь?

Наивно было бы ожидать, что взгляд его потеплеет.

— Ну, ты же, наверное, такая умная и образованная, как с тобой без почвы?

Он сказал... она сказала... снова он — все это было лишнее и могло продолжаться долго, а времени в обрез.

— Ты уже все тут знаешь?

— Где?

— Деревню я имею в виду. Ходил? Смотрел?

— Прогуливался. Интересуешься сельскими видами?

— Клуб какой-нибудь есть?

— Даже дом культуры.

— Сходим?

— Зачем?

— Нужно.

Нет, ее не смутило, что он откровенно не хотел никуда с ней идти. Если я делаю ошибку, подумала она, то, значит, ошибка неизбежна, потому что времени нет, и если он тот, кем она его почувствовала, каким увидела еще тогда, в поезде, то все должное произойдет. Сейчас, понятно, ему нелегко, ведь где-то по периметру суетится доступная самка с арбузной задницей. Нужно вывести его из поля действия ее кошачьей похоти, чтобы для начала он мог почувствовать себя таковым, каков есть, тогда откроется его зрение к равному себе. Сделала вид, что не замечает, как он закрутил головой, как досадой исказилось лицо, в руках суетливость, а губы все-таки произносят нужное: «Ну, пойдем».

— Папа, мы погуляем немного.

Ее несокрушимый и невозмутимый папа расцвел типично стариковской радостью, поднялся, подошел к ним, слегка споткнувшись о деревянную решетку у крыльца, обнял их обоих,— этакое откровенное благословение,— прошептал многозначительно:

— Конечно, конечно! Погуляйте. К реке сходите. Там хорошо!

Насчет реки это было ниже всякого уровня, Наташе стало стыдно за отца, она оглянулась и встретилась со взглядом хозяина дома, Сергея Ильича. Он, конечно, тоже улыбался, но зря, потому что когда рот улыбается, а глаза гневаются, то это уже не улыбка, а оскал.

Последний раз Артем крутанул головой, когда они уже шагов на сто отошли от калитки. Повезло. Кофточка не объявилась. Теперь все зависит от других обстоятельств, которые могут сложиться удачно, но могут и провалить всю затею.

— Может, скажешь, чего это тебя потянуло на сельскую культуру?

— Музыку любишь?

— Музыку? — почему-то удивленно спросил он.

— Я имею в виду настоящую музыку.

— Я люблю хорошую музыку.

В ответе прозвучал странный вызов, и сам ответ был плох, так плох, что дальше некуда. Конечно, она должна была сказать ему, что музыка не бывает хорошая или плохая, она бывает настоящая и ненастоящая, музыка и не музыка, и это элементарно для всякого образованного человека. Скажи она так, и все! И больше ничего не будет. Даже надежды. Господи! Как он плохо ответил! Словно половина образа, что воссоздала в душе,— крест-накрест... Торопливо глянула на него, пришлось остановиться и обернуться, чтобы как следует, глаза в глаза... Да нет же! Черты лица — это же не просто форма плоти, это всегда еще и шифр души, и она не могла ошибиться в расшифровке. Теперь все зависело от простой удачи, от нескольких счастливых совпадений...

Еще она чувствовала и догадывалась, что взяла с ним очень неверный тон, октавой выше и мажорней нужного. Ему бы говорить с ней таким тоном, а ей бы тогда достался неторопливый аккомпанемент левой руки, возможно, лишь с некоторой коррекцией и опережением темы, когда одним аккордом можно менять строй и тональность, а правая рука и не заметит даже своей ведомости, увлеченная умело предложенной формой общения. Нужно было найти аккорд.

Улица, которой они шли, чем-то напоминала диканьковские виды Гоголя: домики, палисадники, лавочки у калиток, тихое безлюдье. Людей можно вообразить, как хочется душе, в том же гоголевском настрое,— они добры, по-хорошему хитры и непостижимы, как миф, среди них можно жить или пребывать в роли тактичного привидения — смотри и не вмешивайся, и получишь заряд спокойствия и оптимизма...

— Хорошо здесь,— тихо сказала Наташа.

— Кому?

— Что?

— Кому хорошо?

Наташа поняла. Он несчастен. Потому один аккорд для него — пустое и даже раздражающее звучание. Нужно быть осторожной и тонкой.

Вот, пожалуйста, словно в унисон его озлобленности, «гоголевский» пейзаж развалился на глазах, преобразился в безобразие пыльной площади, окруженной отвратительными строениями, заполненной ревом моторов и криками людей. Специально он ведет ее не в обход «ада», а через него... Мог бы под руку взять, но не берет. Хорошо, что хоть идет рядом, а не впереди.

В другом конце пыльного облака Наташа увидела цель их похода и в нетерпении прибавила шагу. «Господи! Только бы все совпало!»

Все совпало, и это был добрый знак. Клуб открыт. У первого же встреченного человека (им оказался худрук, человек с худыми руками!) Наташа спросила:

— У вас здесь есть инструмент?

— Какой инструмент? У нас оркестр...

— Рояль или пианино,— возмущенно уточнила она.

— Пианино на сцене. А что?

— Как пройти?

Он показал и не пошел за ними, и это тоже была удача. Последнее — лишь бы не расстроенное... Два-три аккорда — и радость!

— Спустись в зал и сядь в третьем ряду. Подожди! Знаешь, что я буду играть? Я буду играть про тебя.

— Да ну! А не замучаешься? — спросил он с ухмылкой.

— Если можешь быть серьезным, то попытайся, ладно? Иди, пожалуйста.

Наташа была уверена, что до нее никто и никогда так не исполнял «Прелюдию» Рахманинова, потому хотя бы, что такое исполнение вообще возможно только один раз, только однажды, и она сама больше никогда не сможет повторить... Она ему рассказала все, что поняла, о чем догадалась, что увидела в его лице и что услышала в его нарочито грубых словах. Она рассказала ему о нем то, что он сам, скорее всего, не знал о себе, и ничуть не беспокоясь, что тем самым и сама раскрылась ему...

Паршивенький дом фальшивой культуры в минуты ее и рахманиновских откровений перестал быть безвкусным нагромождением бетона и кирпича, серебряные звуки великой музыки, как заклинание алхимика, преобразили его в каждой мельчайшей материальной частице и превратили на мгновение звучания в сверкающий храм, где свершаются самые заветные откровения, храм для двоих, только для двоих. Чтобы никто чужой не услышал и не подслушал, она силой своего вдохновения опустила его в самый центр земли. Став иноприродным, храм великих звуков не встретил сопротивления грубой материи и пребывал там, в бездне, в состоянии невесомости ровно столько, сколько длилось и свершалось действо.

Тихо и аккуратно она подняла храм из глубин, помогла ему утвердиться на прежнем месте, и когда, стыдясь и конфузясь, восстановилась полнота материального безобразия, она уронила руки с клавиатуры. Воздух вокруг, как самая чувствительная сфера восприятия прекрасного, еще был полон озоновым серебром, но слезы радости слишком долго высыхали в его атмосфере, и она, достав из кармана платья платочек, протерла глаза. С последним движением ее руки прекратилось чудо, рожденное музыкой. Она встала и повернулась к Артему.

Ох уж эти мужики! Ведь ошарашен и потрясен, но мышцы лица как в кулак сжаты, чтобы кто-нибудь, не дай Бог, не догадался о подлинном состоянии души, а то как же, мужчина — и вдруг чувства, несовместимые с мужественностью, к которой приговорен по рождению. Даже в глаза смотреть не решается!

С другого конца зала к ним спешили с нелепыми восклицаниями тот, что представился худруком, и еще какие-то две женщины, но Наташа, схватив Артема за руку, шепнула: «Бежим отсюда!» Они нырнули в боковые двери и чуть ли не бегом пересекли пустой вестибюль. Прыгая через ступеньку, вырвались на площадь и пересекли ее в минуту.

Теперь можно бы и к реке, но в какой стороне она? Спрашивать не хотелось. Нужно дать ему прийти в себя, пусть вымолчится, остынет, пусть чувства преобразуются в мысли, ведь с мужчиной можно общаться только на уровне мыслей, но не чувств... Да и самой нужно успоко-

иться, вон как пальцы напряжены, не разжимаются на рукаве его куртки.

Бочком протиснулась коротенькая мысль о том, что, наверное, нехорошо, если ей не хочется туда, где больной отец и где мама, но так бывает, и это в порядке вещей, в том нет предательства, но есть жизнь...

Кажется, они шли той же самой улицей. Но тогда она была пуста. Теперь же то тут, то там — люди, около домов, в палисадниках, у водоколонок, и все оглядываются на них, в том тоже какая-то хорошая справедливость. Но все же лучше бы сейчас выйти из деревни. К речке, или в поле, или в лес. Идти петляющей проселочной дорогой, нарвать цветов, настоящих, полевых... И говорить вовсе не обязательно... Вот только одно серьезное неудобство — она не видит его лица, а им сейчас уже пора хорошенько посмотреть друг другу в глаза. Он, скорее всего, не выдержит, отведет взгляд, виноват же...

— Скажи, у тебя с этой, с «розовой кофточкой», это же так, баловство, да?

Взгляд, который он кинул на нее, был слишком коротким, чтобы угадать, но желваки она заметила и пожалела о своем вопросе. Не следует мужчину тыкать носом в его собственный стыд, закомплексуется, чего доброго, потом раскачивай его! Не ответил. Она обхватила его руку, плечом прижалась к ней, он должен понять, она раскаивается, она закрывает навсегда эту тему. Тем более что никаких недобрых чувств не питает к дочке гостеприимного директора школы, она очень даже понимает ее, ведь несусветная глупость — это так называемое целомудрие, и очень даже досадно, что на нем сейчас жесткая куртка, а на ней такое же жесткое джинсовое платье, а хотелось бы полного прикосновения, она уже знает, как оно взволновало бы ее.

— Можешь сказать, о чем ты сейчас думаешь? — почти шепотом спросила она.

— Могу,— ответил он, хмыкнув.

«Не рано ли?» — забеспокоилась. Не торопит ли события, отстоялся ли настолько, чтобы произошел разговор понимающих друг друга людей, чтобы ни одной фальшивой интонации, ни одного слова двусмысленного или просто лишнего.

— Ну, скажи.

Щекой она почти прижалась к его плечу.

— Я думаю о том, сколько репетиторов померло, пока они выучили тебя барабанить всю эту ретруху.

Рука, плечо, щека — по всей плоскости соприкосновения ожог такой силы, что темнота в глазах. Она оторвалась, отклонилась, закачалась от нестерпимой боли. Он схватил ее за руки выше локтей, сжал так, что кисти онемели.

— Ну да! Ты же привыкла, что весь мир существует для тебя, ты, так сказать, в центре, а вокруг тебя одни декорации и манекены. Ты ресничками хлоп-хлоп, и все перетусовались, как тебе удобнее!

— Пусти! — простонала она.

— Тебе и в голову твою подкремлевскую прийти не может, что у этой, как ты сказала, «розовой кофточки» может быть не только имя человеческое, но и душа настоящая! Верхи все могут, низы ничего не хотят!.. Я вот, к примеру, зачем тебе?

— Пусти, пожалуйста, пусти!

Она взглянула ему в глаза и вдруг заплакала, заревела, сотрясаясь от судорог, что начинались где-то в груди и по всему телу... Смотрела на него и ревела. Громко, почти не слыша его брани.

— ...от нечего делать?! Приехала — покорила? Я таких, как ты, с вашими бетховенами в гробу видал! Понятно?!

Он отпустил ее, и она чуть не упала. Пятясь от него на всю ширину улицы, сотрясалась от рыданий. Откуда-то сбоку услышала грубый женский голос: «Эй, ты, чего девку обижаешь!» Он шагнул было к ней, она вскрикнула и побежала.

Бежала, чтобы спрятаться от всего мира, от всех, кто мог бы ее видеть, понимать и сочувствовать. Или злорадствовать. Сворачивала в узкие улочки, оказалась в пролете между огородами, тропинкой выскочила к реке.

Разве можно утопиться в этой жалкой проточной луже, когда она еще в десять лет, обученная бывшим олимпийским чемпионом, плавала как рыба.

Истерика прошла. Она смотрела на воду и успокаивалась. Противоестественное, глупое и позорное чувство, овладевшее ею, словно вышло из души, и на некоторое время задержавшись поблизости напротив, чтобы она могла спокойно рассмотреть его, затем плотным туманным облачком стало отдаляться, на том берегу реки она еще видела его, но через мгновение это была всего лишь точка на горизонте. Исчезающая точка. Надо было дождаться темноты... Или вернуться в город, где не бывает горизонтов.

Было стыдно. Но это ее личное дело. Она заслужила, потому что дерзнула выйти за пределы реального мира и вступила в отношения с фантомами, с голограммами, имитирующими реальность. Он... этот объект ее ошибки, оказался прозорливее, он сразу понял, что и она для него — фантом, и высек, и отхлестал, и поставил на место. Молодец! Она всю жизнь будет благодарна ему за урок, она его никогда не забудет...

Надо было возвращаться. А для того чтобы возвратиться, нужно было снова обо всем подумать по-доброму, например, об этой речке — что она красиво изгибается ивовыми берегами, что звук движения воды ненавязчив, как и голоса невидимых птиц, что воздух вокруг хорош и в меру прохладен, что вообще все вокруг миролюбиво, спокойно и даже дружелюбно, и потому нет оснований для того, чтобы ломать пальцы и хрустеть суставами, пальцы ни в чем не виноваты перед ней, скорей, она виновата перед ними, и эту вину она искупит всей оставшейся жизнью. Еще она виновата перед реальными участниками ее жизни — перед отцом и матерью, и это тоже будет исправлено.

Некрасивая женщина с красивыми, большими синими глазами коротко и исчерпывающе точно объяснила Наташе, как выйти к дому директора школы. Еще из-за последнего поворота, увидев у калитки «Волгу», Наташа побежала. Ее, запыхавшуюся и испуганную, в дверях перехватила мама.

— Ну, где же ты гуляешь? Сейчас уезжаем!

— Почему сейчас? Ведь завтра же...

— Я прозвонилась в район. Нам здесь делать нечего.

— А что папа?

Тут же появился и папа. Он крепко обнял Наташу, она не помнила прежде за отцом таких нежностей, встревоженно взглянула ему в глаза. Он выглядел уставшим или... старым, хотелось жалеть его очень большой жалостью.

— А где Артем? Он разве не с тобой? Я не могу уехать, не попрощавшись с ним. Знаешь, Наташенька, я обещал помочь ему кое в чем, а получается, что обманул, а он такой замечательный человек. Любаша, как же быть?

Вокруг них засуетились Сергей Ильич с его улыбающейся дочкой... Наташа не вспомнила ее имя... Они пытались отговаривать от поездки, отговоры были чистосердечны, но мама была неумолима, папа растерян, а Наташа металась взглядом от отца к матери, от матери к отцу, изъявляя абсолютную готовность к любому их решению.

— Ты не волнуйся, папа,— шепнула отцу,— этот парень без тебя не пропадет.

Мама поблагодарила ее взглядом, и все начали прощаться друг с другом, передвигаясь по комнате вокруг папиного чемодана и маминой сумки. «Розовая кофточка» чмокнула Наташу в щечку и шепнула: «Приезжайте просто

так, отдохнуть!» «Спасибо!» — ответила Наташа и пожалела, что не запомнила ее имя, а при прощании никто, как назло, ее имени не произнес.

Пока шли до машины, папа искрутился:

— Ах, как нехорошо! Любаша, я чувствую себя просто...

Он был очень трогателен в этой своей тревоге. Трогателен и жалок. Мама же оставалась совершенно равнодушной к его беспокойству, делала вид, что не замечает его, и в том тоже была какая-то необычность, странность, Наташе непонятная. И расставание у машины мама сократила до минимума, буквально впихнув их с отцом в машину, а дверцей, сев с водителем, хлопнула так резко и решительно, что Наташа с отцом внезапно и с равным испугом переглянулись.

В машине папа продолжал вертеться и этим начал раздражать Наташу. Ей хотелось сказать ему открывшуюся ей правду об отцовском любимчике, но даже подумать было страшно о таком проговорении, потому что с такого момента — возьми и скажи она — навсегда исчезнет образ отца, справедливого человека и мудрого государственного мужа. А что останется? Это прикосновение к его плечу и слезы, что наворачиваются на глаза при одной только мысли о том, что жизнь — не вечное продолжение времени, но неизбежное стремление к концу всего существующего одновременно с тобой и опережающего тебя в скольжении в никуда... Впереди не радость, а утраты и затем одиночество...

На дорогу выскочил странный старикан. То ли он хотел перебежать... но подергался и отскочил назад к палисаднику. Наташа даже вскрикнула, так крепко вцепился ей в руку отец. Когда, тормознув, проехали, они одновременно с отцом оглянулись назад. Старик стоял, опустив руки, и смотрел им вслед.

— Господи, чуть не сбили,— прошептала Наташа.

Отец был бледен.

Когда отъехали достаточно далеко от деревни и деревня скрылась за холмами, отец вдруг попросил остановить машину.

— Хочу еще раз на одно место взглянуть,— сказал он, словно извиняясь перед всеми.

— Только я с тобой,— потребовала Наташа.

Он кивнул, а мама промолчала.

Они преодолели кустарниковые заросли и взобрались на пологий холм. Глазу открылась безобразная и безбрежная черная яма. Наташа удивленно посмотрела на отца. Он понял взгляд и, отдышавшись, сказал:

— Когда-то здесь был прекрасный луг. Лучшие сенокосные угодья во всем уезде. Божеполье называлось. Божье поле...

Такое, однако же, представить было невозможно, и Наташа просто поверила на слово.

— Когда-то вот там...— Он указал в середину грязночерной ямы... И замолчал, опустив руку. Что-то происходило с его лицом, разнообразные чувства прочитались бы по движениям бровей, губ, по меняющемуся выражению глаз, по судорогам щек. Наконец это очевидное смятение чувств прекратилось, лицо застыло, и сам он весь выпрямился, собрался,— это был прежний, хорошо знакомый ей человек воли, ума и достоинства, а в сосредоточенности лица проглядывалось еще что-то похожее на злость, на большую злость...

На обратном пути он отказался от ее руки и в машину уже не влез, как в деревне, а подошел и сел. И только бледен был непривычно...

Самолет пересекал пространство. Тайна и чудо заключалось в том, чтобы сесть, пристегнуться, закрыть глаза в одном измерении, а затем через некоторое время очнуться в другом, знакомом и привычном, где все немногочисленное количество объектов восприятия реально и однозначно по смыслу, без подвохов, сюрпризов и перевоплощений. Чем уже мир, тем достовернее он.

## 12

Чем уже мир, тем иллюзорнее его равновесие. Так начинала понимать Любовь Петровна. Это горькое и обидное понимание пришло не сразу, то есть оно пришло очень поздно, катастрофически поздно. Лучше бы ей не понять этого никогда. Но если понято и поздно, то как жить и чем жить? К тому же такое открытие не приходит одно, оно влечет за собой еще более горькие понимания, от которых уже становится так тошно, что пропадает желание жить. Желание умереть не приходит тоже, и маета поселяется в сердце, и руки опускаются. Впрочем, насчет рук — это к слову. Глаза боятся, а руки, как известно, делают.

Отъезд мужа как раз кое в чем развязал руки. В кратчайший срок Любовь Петровна провернула дело с дачей и гаражами и теперь могла быть спокойна хотя бы в этом отношении, потому что вчерашние лакеи и лизоблюды все громче начинали вопить о «привилегиях», и мелкие, острые их зубки хронометражно постукивали с экрана телевизора. Лакеи требовали доли. Скоро они войдут во вкус и будут требовать всего. А власть пятится и оправдывается. Как же не вцепиться ей в глотку и не отведать кровушки!

Жорж пригласил ее на вечеринку по поводу юбилея известного диссидента-разрушителя. Именно по поводу, потому что самого юбиляра не было и, как выяснилось, не могло быть именно в этой компании вчерашних подпевал, а ныне борцов за человеческие ценности. Она ожидала, что это будет богема, пестрохвостые гении слова и красок, приготовилась к выслушиванию интеллектуального бреда о страдальческой миссии творческих личностей, находящихся между молотом и наковальней, то есть между тупой властью и злобной толпой. В прошлом это была коронная тема собутыльников Жоржа. Но ошиблась. Ничего подобного! Она оказалась в компании анонимов. Знакомя ее с присутствующими, Жорж был предельно лаконичен: «Замечательный человек!», «Замечательный человек и надежда России!», «Об этом человеке ты еще услышишь!», и ни слова о социальном статусе «замечательных людей». Только исключительное умение владеть собой, своим лицом и голосом спасало в этот вечер Любовь Петровну от оплошностей. Изумлению ее не было предела.

Во-первых, все «замечательные» в один голос несли генсека за то, что он, оказывается, разрушает медленно, нерешительно и не до конца. Любовь Петровна высоко ценила свое личное отношение к Первому — она его ненавидела... А эти — презирали! И она почувствовала себя обкраденной и обманутой. Оказалось, что она принижала себя, привязав такое великое чувство, как ненависть, к человеку, того недостойному. Чтобы отстоять себя, Любовь Петровна торопливо приговорила компанию Жоржа к простейшей формуле: черти, бесы, домовые, лешии и прочая мелкая нечисть взбунтовалась против своего родителя и тешится собственной смелостью и дерзостью. Но увы! Приговор был воистину тороплив. Он только помог ей войти в роль простушки, которой повезло оказаться в одном помещении с «замечательными людьми». Жорж — молодец, оценил ее игру, не раз восхищенно подмигнув ей. Все же прочие, слишком занятые собой и друг другом, поначалу еще раз-другой обращались к ней как к равной, но скоро совершенно выключили ее из своего общения, а один, который «надежда России», небрежно хлопнув ее по коленке, толком не обернувшись даже, попросил «повторить кофейку», что она и выполнила с удовольствием под многозначительное мерцание Жоржевых зрачков.

Удовлетворение собственной игрой было непродолжительным. Добросовестность требовала определиться относительно множества разноречивых эмоций и впечатлений, штурмовавших крепость поспешно сотворенной формулы мелкого бесовства компании Жоржа.

Каждый из присутствующих в отдельности внешне был вполне симпатичным человеком, за исключением, разумеется, невероятно раскрашенной дамы, тоже «замечательной», основательницы какого-то двусмысленного фонда. Убежденная в том, что женщины всегда проницательнее мужчин, Любовь Петровна именно с ее стороны ожидала опасности разоблачения. Но «замечательная» с минуты знакомства определенно решила, что имеет дело с любовницей Жоржа, и вовсе не удостаивала Любовь Петровну внимания, чем безусловно обнаружила свою глупость и самонадеянность и в течение всего вечера успешно демонстрировала эти качества то длинными монологами, то многозначительными репликами, то откровенным игнорированием мнения собеседников. Все, что она говорила, ничуть не противоречило общему говорению, каждый импровизировал на одну и ту же тему, но она постоянно настаивала на том, что в таком-то вопросе ее понимание точнее, в таком-то глубже, а все прочие не додумываются до сущностей и глубин обсуждаемых проблем.

Убедившись в том, что дама — типичная «разведенка» и «эмансипэ», Любовь Петровна исключила ее из своего контроля и стала присматриваться к остальным, не выпуская из поля зрения и Жоржа, который, к немалому удивлению, весьма умело выполнял роль своеобразного координатора общения, но, как ни напрягалась Любовь Петровна, не могла высчитать направление этой координации.

Вообще же смысл политической болтовни менее всего был предметом интереса Любови Петровны. Совсем иное интриговало и тревожило ее. Впечатление постоянно раздваивалось. То ей казалось, что всех их и каждого в отдельности она видела и слышала по телевизору, что каждый ей визуально определенно знаком, но в то же самое время она буквально холодела душой от предчувствия соприкосновения с совершенно незнакомым ей миром сознания и поведения, что она пребывает в состоянии открытия чего-то столь значительного, что станут неизбежными принципиальные переоценки самых фундаментальных представлений ее о вещах, в правильном понимании которых была уверена абсолютно.

Они говорили, говорили... Более и активнее других самоутверждался еще молодой, не старше тридцати пяти, очень интеллигентно смотрящийся мужчина с вычурно выстриженной бородкой, румяными щечками и задиристой курносостью. Во время говорения он весь сиял, откровенно наслаждался бесспорным преимуществом в грамотности речи, точностью определений, лаконизмом ответов и реплик. Любовь Петровна залюбовалась им, несущим неслыханный вздор. Степень неслыханности вздора сказочным образом превращалась в свою противоположность,— в смысл, способный зачаровать или повергнуть в уныние. Вздор обретал смысл и материализовался в бытие, которое пестрой стенкой, стеной, крепостью выстраивалось перед сознанием Любови Петровны, оттесняя ее мир и ее бытие к опасной обочине, за которой канава, обрыв, пропасть, бездна...

Она зашаталась, теряя равновесие, она оглянулась в поисках опоры и с ужасом поняла, что ее опора — старый человек, старик, так же, как она, до этого момента, до момента горького и страшного прозрения, не подозревающий о существовании иного, нового мира, обладающего всеми качествами реальности и преимуществами молодости. Он возник, он есть, и он ни за что не захочет отказаться от существования. Он, как всякое бытие, подвержен, доступен уничтожению или изничтожению, но разве это под силу старику, сколь мудр он ни будь! Да и мудрость! Совместима ли она с дряхлостью? Сама по себе мудрость — только половина факта. Другая же ее половина — действенность. Бессильная, бесполезная, холостая мудрость — это что? Разновидность социального онанизма? О, Боже! Какая пошлость ввинчивается в мозги!

Шел уже третий час общения. Уже второй раз она готовила кофе на донельзя загаженной плите. Разносила, получала машинальные «спасибо» и «благодарствую» или кивок небрежный. Спиртное поглощалось тоже весьма энергично, компания теплела, темы общения калейдоскопировались и мельчали, мужчины превращались в мужиков и все чаще поблескивали хмельными глазенками в сторону Любови Петровны.

Жорж сиял. Он, видимо, догадался, что наконец-то «достал» свою давнюю подругу жизни, пробил незалечимую брешь в ее самоуверенности, отмстил ей, гордячке, за небрежность и высокомерие. Нечто подобное Любовь Петровна пыталась уловить в пьяном блеске его зрачков. Все это, кажется, было там, присутствовало, но и другое было тоже — радость, ей-Богу, чистая радость от того, что теперь уж ей никуда не деться от признания за ним права на жизнь, как он ее понимает...

Два-три лишь чуть затянувшихся перегляда, и Любовь Петровна не без растерянности сказала себе: «Он меня любит! Во всяком случае, сейчас он меня любит и желает, как раньше. Как в самом начале. Приятно?»

Крашеная дура, что сидела напротив Жоржа, теребила его за расстегнутый рукав рубашки и требовала немедленного ответа по поводу не то крымских татар, не то чеченцев, он перед этим несколько небрежно обошелся с темой. Как раз был очередной их многозначительный перегляд... Жорж не без досады повернулся к рыжей и заверил ее, что вся российская демократия должна лечь костьми, но обеспечить торжество исторической справедливости...

Много подлежащих реализации справедливостей было провозглашено за этот вечер, и с каждым таким провозглашением вырастала в объеме несправедливость, готовящаяся для нее, Любови Петровны, для нее, за всю жизнь не совершившей ни одного проступка, достойного возмездия...

У каких-то древних племен, что были, кажется, еще до славян, существовал обычай с умершим мужем хоронить живую жену. Нечто подобное судьба готовила ей. Так поняла она, так ей возомнилось и вообразилось.

Рыжая дура, что напротив Жоржа, намного ли она моложе, но вон как нацелилась криво поставленными зубами на жизнь! Пасть у нее еще та! Куски будет отхватывать что надо и не подавится.

Любовь Петровна чувствовала себя молодой и обреченной. Муж не вспоминался, он присутствовал где-то за спиной, как смерть, как ее смерть, несправедливая и преждевременная. Вот и пришла расплата за риск двадцатилетней давности. Привычка по настроению мыслить образами подсказывала: вот она, изящная перламутровая раковинка, уставшая от прихотей морских течений, возжелавшая надежности и покоя, пристроилась, прилепилась к могучему океанскому лайнеру, и стала забавой шторма и пространства, только вот по прошествии лет, прохудившись, затонул на рейде ее вчерашний всесильный покровитель, затонул на мели и придавил ее ко дну морскому всей своей непомерной тяжестью. Теперь ей задыхаться и тихо умирать, никому не нужной и неинтересной. Если бы он получил брешь в бою, она закрыла бы ее собой, но он просто прохудился и затонул и остался торчать над водой бесполезными мачтами. А кругом зашустрили быстроходные и наглые, и вся жизнь вокруг обрела новый увлекательный ритм, в котором можно бы закрутиться, увлечься... Но придавлена, похоронена, обречена...

Еще может статься, что вообще не существуют абсолютные ценности и значения, что истинна только жизнь реальная, как она есть, что все зависит лишь от угла зрения, и тогда все присутствующие в этой квартире правы, что вообще всякий человек имеет право быть кем есть и кем хочет, имеет право уничтожать себе противное и добиваться себе приятного, потому что он сам есть единственная подлинная реальность. Человеки могут действовать друг против друга, и каждый из них прав во вражде и победе. По этой же простой логике молодой всегда более прав, чем старый, потому что за молодым жизнь, а за старым смерть, где исчезают вообще все смыслы.

Но что же тогда происходит с ней? Она, способная вот таким образом все понимать, не может тем не менее преодолеть неприязни ко всему, что произносится здесь, в этих стенах, и там, за стенами, на улице. Она не может подавить в себе протеста против каждого произнесенного слова, словно произносятся слова неправильно, с неправильным, противным ударением... Может быть, потому, что они говорят о жизни, а она заражена смертью, она, связавшая свою судьбу с человеком, чья правда и подлинность кончились вместе со сроком жизни, ему отпущенной?

Куда ни отвернись, везде достает ее торжествующая физиономия Жоржа Сидорова. Хочется свершить что-то неслыханное, никем не предугаданное, что-то вроде детской игры в «замри!» когда бы Жорж и все собеседники его застыли, кто как, а она подошла бы, рассмотрела позу каждого со всех сторон, Жоржа в особенности, тогда выявилось бы, что все они в случайно схваченном мгновении выглядят форменными идиотами, что лишь движением, сменой кадров маскируется этот явный идиотизм всего их бытия, их активности... Можно плюнуть в каждую из этих застывших физиономий, а потом заботливо протереть платочком, сказать «отомри!», и пусть себе продолжают общаться и самоутверждаться, отмеченные знаком ее отношения к ним... Но жить-то хочется!

— Что? — спросил Жорж во внезапно наступившей тишине.

Боже! Она произнесла это вслух! Почему именно это? Ведь думала совсем о другом. Но зато вот тебе и чудо! Все присутствующие замерли, застыли, как она того хотела минуту назад. И выражения лиц воистину идиотские, в особенности у Жоржа. Жаль, что это только секунды, но это было, она видела всех и всех запомнила, подловила и теперь спокойно может вычеркнуть...

Не вычеркнулось! Наоборот, как только покинула квартиру Жоржа, смятение более прежнего овладело душой, потому что, пока была там, пока присутствовала, воображением словно управляла ими, представителями нового мира, контролировала их, а сейчас, предоставив их самим себе, превратилась в Дюймовочку. Беспомощную, ее грозил затоптать как на дрожжах выросший мир социальных питекантропов, социальных приматов, они уже и так заслонили ей солнце, и небо, и горизонт, и она вынуждена ощупью передвигаться по своему маленькому мирку, доступному любой хамской подошве.

Впервые в жизни с ней произошла истерика. К счастью, дочери дома не было. Она что-то разбила, порвала, опрокинула, она изревелась до боли в груди, накричалась до хрипоты, устала, упала на ковер и лежала без движения не менее часа, потом заснула, впала в небытие, и оттуда, из небытия, была возвращена голосом разума, сказавшего ей, несчастной и обессиленной, что истерика — истерикой, но квартиру нужно прибрать до возвращения дочери.

Звонок Жоржа, известивший ее о болезни мужа, не был неожиданностью. Кажется, она даже ждала этого. Толстой тоже ведь заболел, когда убежал, и вроде бы даже помер... Недолгие сборы проходили под рефрен: «Что жизнь!» Помнилось, что дальше идет какое-то умное и уместное рассуждение о смысле жизни. Не вытерпела. Перешерстила полки. Нашла Шекспира. Уже за полночь наткнулась на нужные слова. Вот: «Что жизнь! Тень мимолетная, фигляр, неистово шумящий на подмостках и через час забытый всеми! Сказка в устах глупца, богатая звоном пышных фраз, но нищая значением!»

Было обидно и оскорбительно, что в каком-то ...надцатом веке какой-то мужик мог высказаться подобным образом, а она на грани двадцать первого века колотится головой об ту же самую истину... А в чем же тогда смысл человеческой истории и в чем ее цена? Жизнь — это тень и сказка! Так бы к ней и нужно подходить, и тогда все будет проще и легче. Ей, в частности, было бы проще и легче, усвой она вовремя эту истину о смысле жизни. Теперь уже поздно. Она приросла нервами к сомнительным ценностям и воспитала в себе ненужные качества души, которые разрывают нынче ее душу на части, превращая жизнь в пытку.

Ясно, почему никто из «первых» не встречал ее в аэропорту, не проводил, не позвонил даже. Поняли, что ее муж уже не «игрок», что ставить на него не имеет смысла. Понятно. Но больно-то как! А когда сама увидела его, за неделю спрыгнувшего в старость, обросшего всеми атрибутами старости всего лишь за неделю, каково это было видеть и чувствовать! Стыдно вспоминать, что совсем недавно еще воспринимала его как мужчину. Возможно, что сама искусственно, то есть искусством своего поведения, придерживала его в противном возрасту состоянии. А теперь уже все! Теперь на одних метрах площади она и старик. И еще дочь, которая не может ничего этого понимать и до конца дней старика будет преданной сторожевой собакой охранять бессмысленное постоянство их сожительства, и ей в голову не придет, что мать ее еще молода и полна сил, что может хотеть и жаждать чего-то иного, соответствующего ее возрасту и состоянию. Вон ведь как реагировала на звонок Жоржа! Какие глазищи были, не забудешь! Такие глазастые дочки в древности и укладывали живых матерей в могилы умерших отцов-стариков.

Но самым невыносимым было видеть, что муж ее совершенно не понимал того, что с ним произошло. Прежняя серьезность и деловитость его смотрелись теперь неуместным стариковским важничаньем, дряхлость, внезапно упавшая ему на плечи, окарикатурила все его еще недавно солидные манеры, жесты, мимику и даже голос. Лишь инстинктом догадываясь о физических переменах в своем теле, он, очевидно, сопротивляясь инстинкту, постоянно демонстрировал, как он бодр и трезв мыслью, и был жалок при этом так, что уже не раз Любовь Петровна в такие минуты подмечала слезы на глазах дочери.

В первые дни по возвращении он несколько раз пересказал жене о своих встречах и контактах в Зауралье. По его словам выходило, что за ним теперь чуть ли не вся Россия, что стоит ему определенным образом объявиться, как тут же появятся кадры, им лично проверенные, что провинция вообще только и ждет, чтобы кто-то кинул клич о спасении государства, и оно будет немедленно спасено, потому что происходящее в Москве — всего лишь пена, на которую нужно только хорошенько и сердито дунуть, и он чувствует в себе силы для такого действия. В его рассказах мелькало четыре-пять имен, как поняла Любовь Петровна, сущие мелкие сошки, за исключением разве некоего генерала, наверняка такого же маразматика...

Вот она и договорилась! Чего уж там, безусловно, старческий маразм поразил мозг ее мужа, еще недавно трезвого политика и добросовестного работника. Хуже того, он начал проявлять действительную активность, первые дни только телефонную. Подслушивая его многозначительные переговоры чаще всего со второстепенными

участниками кремлевской игры, она сжималась в комочек, представляя действительную реакцию его абонентов, очевидных прохвостов, которым и в голову не придет делать ставку на отставного старикашку.

В условия высокопоставленной отставки Павла Дмитриевича входило право пользования правительственной машиной определенное количество часов в сутки. Оскорбленный «определенным количеством», он отказался от этой льготы. Любовь Петровна подобным предрассудком не страдала и перевела льготы на себя. Теперь же и он вспомнил о своих правах. Исчезал на несколько часов без каких-либо объяснений, а возвратившись, запирался в кабинете и что-то писал, писал... Шаркал по кабинету туда-сюда, чего-то бурчал, бубнил, иногда восклицал громко, Любовь Петровна не успевала расслышать, что именно, потом появлялся в гостиной, самодовольный и важный, таинственно поглядывал на жену, надеясь, что она поинтересуется его делами, и, не дождавшись, уходил к дочери, если она бывала дома, усаживал ее за инструмент, просил играть Бетховена, и не меньше того.

Было бы полбеды, если бы все ее новые чувства к мужу никак не соотносились с ней самой, если бы они просто изменились. Набором чувств с одним знаком вполне можно жить, но разве могли быть однозначными чувства Любови Петровны? Срослась же, сроднилась, а значит, любовь, жалость, сочувствие — все это присутствовало в душе, все так или иначе подуманное о муже относилось в равной мере и к ней самой, она же только раковина, пусть знающая себе цену, но все же — раковина, прилипшая к борту когда-то могучего лайнера. Даже очевидное неочевидно, если неизбежное и роковое накатывается на судьбу, готовое искромсать, растоптать, уничтожить. Потребность сопротивляться, не поддаваться очевидному, выстоять вопреки логике конца — разве это не присуще человеческой душе?

Может, ошибка? А вдруг реально все, что происходит с мужем? Вдруг она поторопилась списать его, вдруг совершила то, чего страшилась сама: похоронила живого! Нет, с такой двойственностью чувств жить невозможно! Ей нельзя совершить ошибку, любую из двух возможных: она приговорила его и обманулась,— это было бы неискупимым преступлением против мужа; но если она, не желая мириться с очевидным, поверит его мнимому возрождению,— она прикончит себя. Посоветоваться не с кем. Она одинока и беспомощна. Разве все тот же Жорж Сидоров? У него чутье и он болтлив. Хоть какую-то корректировку она получить сможет...

Жорж откликнулся как всегда охотно, хотя и помялся немного, когда поставила условие, чтобы был один, что никого не хочет видеть. Видимо, у него были другие планы на назначенное ею время. На другое время не согласилась она, и Жорж уступил.

По дороге в такси Любовь Петровна пыталась честно ответить на вопрос, почему она так упорно держится за Жоржа, что он в ее жизни и что она ему, он-то отчего столько лет постоянен в отношениях с ней. Ведь после того единственного, много лет назад признания и предложения ни разу более не высказывал своих чувств, но лишь откликался на ее зов, принимая все ее условия, подчас вздорные, по его пониманию. Она готова была признать, что нечто стержневое объединяет их судьбы, вычислить же это стержневое ей, похоже, не хватает отваги, потому что, скорее всего, последовало бы еще одно печальное открытие, печальным же она и без того сыта по горло в последние дни. Вертелась на языке обидная пословица: «два сапога...» Вертелась, и все тут! Сколь ни доказывай, что вовсе не пара, что в душе всегда сохранялись дистанция и всяческие перегородки, способствующие трезвой оценке, а в последнее время эта оценка была откровенно критической, граничащей с неприязнью, но вот едет же к нему...

Жорж, конечно же, неправильно понял ее зов. Встретил, настроенный на лирическую волну, то есть просто пропитанный пошлостью, затошнило от его медового, воркующего голоска, от рук-щупалец... Глаза старого развратника истекали похотью, хотелось набрать воды в рот и прыснуть в рожу, ополоснуть ее... Но понимала, нельзя ничего такого, обидится, замкнется, а нужен был очень откровенный разговор, какого давно не было, нужна особая степень откровенности, когда не нужно напрягаться, разгадывая недомолвки, намеки или двусмысленности. Потому не только позволила ему ласки, но и подыграла с должным искусством, придержав его тем не менее на критическом рубеже под видом усталости, и они, как в давние времена нищеты и равенства, развалились на тахте, лишь сбросив обувь, бок о бок, ладонь в ладонь. Заранее продуманные вопросы ее прозвучали как обычное любопытство, что проявляется по любезности. Он отвечал так же, с ленцой. Но еще вопрос и еще, и Жорж заглотнул и через несколько минут уже вещал, вещать лежа было неудобно, он встал и начал выхаживать перед ней, все так же лежащей на тахте в позе необнаженной Венеры Веласкеса.

Он говорил о неизбежности его полной победы, его личной победы, поскольку состояние его личности олицетворяло, по его утверждению, состояние всего общества, загнанного в многодесятилетнее подполье. Он говорил о том, что все, сопротивляющееся ему лично, обречено на суровое и справедливое возмездие, что неизбежный личный его реванш морален и потому предопределен, а предопределен, потому что морален, что впервые в истории России в жертву будут принесены заслужившие быть принесенными в жертву, упорствующие в злобе и тупости, поскольку каждому дается свободный шанс перейти в другое качество по доброй воле без упрека со стороны впередишагающих, то есть с его стороны.

Это была именно та степень откровенности, на которую рассчитывала Любовь Петровна. Еще несколько полувопросов, полуреплик, и он заговорил о стратегии и тактике идущих к победе, а перед мысленным взором Любови Петровны постепенно начало воссоздаваться некое красочное полотно, сюжет которого выстраивался как бы от периферии к центру: сначала по периметру — лица и фигуры победителей, фанатичные, радостные, красивые и омерзительные, но единые по настроению упоенности победой. От периметра к центру все те же лица, лица и замершие на лицах возгласы, крики, вопли. А вот и центр. В центре сани, на санях она, лицо ее торжественно и прекрасно. Рука ее вздернута над толпой, нет, направлена на толпу, вот рука крупным планом, и никаких двуперстий, много чести! Фига, обыкновенная фига им всем, оседланным бесами! Единственное, что они могут сделать,— это стегануть коней, но она готова к тому, она не опрокинется на спину под хохот подонков, другой рукой она оперлась обо что-то твердое и готова... Кони будут уносить ее в белое марево заснеженной России, но фига все равно останется крупным планом перед их полоумными зрачками!

Жорж хватал со стола газеты, стучал пятерней по листам, вычитывал громко чьи-то высказывания и мнения, швырял газеты на стол, они, шурша, падали на пол, он ходил по ним или отшвыривал ногой.

Он был реален. Все, о чем он говорил, действительно стояло за ним, в том уже не могло быть сомнения. Он не переоценивал себя. Он недооценивал ее и того, что могло стоять за ее спиной. Любовь Петровна уже не могла удержаться, чтобы слегка не остудить пыл обреченного на победу Жоржа Сидорова. Увы, в этой части поединка она не сумела в достаточной степени сохранить самообладание и желаемые интонации, увлеклась, очень уж хотелось сбить его с мажорного настроения, и это удалось, но удовлетворения не наступило, потому что художник, изобразивший

боярыню Морозову, лгал в самом главном. Он на все века запечатлел ее всего лишь минутное торжество над толпой, скрыв главное, а главное как раз было потом, когда сани затерялись в снежной пыли, когда она осталась одна, когда наступило одиночество и пришло забвение, и правда именно в этом, в вечном одиночестве, а не в мгновении жеста. Художник лгал умышленно, соблазняя на жест и умалчивая о последствиях. Очарованный изображенным, разве захочешь думать о том, что будет после, а если и захочешь, не сможешь, потому что ты не художник, у тебя нет такой силы воображения, как у него, картина последствий всегда будет хилой, бледной, с размазанными контурами,— махнешь рукой и снова повернешься к яркому полотну художника-провокатора, подталкивающего тебя к жесту и пустоте, что за ним. Романтизм — вообще есть провокация, что в искусстве, что в жизни...

Любопытное это состояние — говорить одно, а думать совсем о другом, о прямо противоположном. Потому, наверное, и не произвела желаемого впечатления на Жоржа. Слушая ее, он ухмылялся и лишь однажды сверкнул зрачками, когда намекнула, что у ее мужа помимо всего прочего имеются в резерве многообещающие контакты с военными в провинции.

А затем Жорж вообще повел себя нестандартно. Вдруг расхохотался, громко, трескуче хлопнул в ладони и заорал, наклонившись над ней, все также лежащей на тахте:

— Мы что с тобой, ненормальные? Мы на что время тратим?!

Со свирепым лицом набросился на нее и начал раздевать. Ничего подобного раньше не бывало, это вообще был не его стиль, и Любовь Петровна, потеряв инициативу, так же торопливо помогала ему, потому что боялась, что он может что-нибудь порвать на ней, только этого ей не хватало, к тому же его действия были быстрей ее мыслей. Все за тем случившееся скотство даже почти не возмутило Любовь Петровну, но скорее напугало, потому что была уверена, что Жорж ей известен весь, а он возьми и обернись чем-то иным, и нужно было время, чтобы понять это иное и вместить его в давно выверенную схему.

С какой-то исступленной нежностью он потом одевал ее. И она опять помогала ему и не сопротивлялась, когда уже в дверях он еще долго мял и тискал ее.

Не меньше получаса ловила такси, а то, которое остановилось, было настолько замызгано грязью, что лишь совершенная необходимость как можно скорее покинуть район проживания Жоржа заставила ее прикоснуться к замызганной дверной ручке,— таксистскому хамью ведь и в голову не придет оторвать задницу...

Чувствовала себя неготовой появиться дома, придумала длинный маршрут по Москве мимо главных театров,— Тверской бульвар, Бронные улицы, Малый. Хотелось успокоиться, прийти в себя, окунувшись в прошлое, но не получалось, хищно-похотливое лицо Жоржа торчало перед глазами,— не увернуться.

Воистину, в мужской природе заложено нечто настолько животное, скотское, как еще сказать,— с чем женщина никогда не сможет смириться до конца, если, конечно, она женщина, а не самка. Ну, как же это можно — говорить о достоинствах демократии и гласности, говорить тридцать минут, а на тридцать первой кобелем прыгать в постель и рвать колготки! И эти политизированные самцы сотворяют историю человечества! Может, вообще никакой истории не существует, просто через раз одни мужчины берут реванш над другими, развязывают скандалы и войны, и всякий раз одно поколение зачеркивает другое, перекрывает ему воздух и наслаждается агонией поверженного противника.

Однажды сделав, казалось бы, разумный выбор, она теперь оказалась в стане поверженных и обреченных, но разве это ее ошибка? Как это можно,— перечеркивать судьбу нескольких поколений и при этом считать себя олицетворением прогресса! И если это — история, то она — ложь и подлость, а жизнь — ловушка, и Жорж, к примеру, тоже со временем попадет в нее, и все победители,— они кандидаты туда же, в ловушку, потому что рано или поздно каждый оступается...

Так уж хотелось сочинить универсальную формулу бессмысленности истории, сочинить и провозгласить, чтобы опешили идущие к торжеству, остановились, стыдясь и конфузясь, убрали бы руки с глоток противников, разглядели друг друга и изгнали бы из своих рядов прохвостов-смутьянов,— ну, хоть один бы раз остановились, и, может быть, тогда действительно наступил бы прогресс или как там это называется. Но вот разве Жорж остановится? Если нет общей правды, то у каждого своя. И у Жоржа она есть... А еще у него есть силы. Ее же муж и властелин, Павел Дмитриевич Клементьев, стар и беспомощен, он обречен, и спасительной формулы не сочинить из слов, что известны всем. А новых слов ей не придумать. Не по силам...

Успокоилась она, как ни странно, именно дома, где все предметы по-прежнему были на своих местах, а лица близких людей, мужа и дочери, все так же источали любовь друг к другу и к ней, она радостно включилась в этот проверенный треугольник любви, нежности и доверия и... решила больше не смотреть телевизор.

Это случилось через пять дней после посещения Жоржа. Она сидела в своей комнате. Зазвонил телефон. С возвращением мужа из деревни он ожил... Она машинально взяла трубку, тут же поняла, что трубку снял и Павел, и уже хотела положить, но что-то остановило ее. Возможно, предчувствие.

— Павел Дмитриевич, Смирновский беспокоит. Помните еще такого?

— Помню. Слушаю вас.

Голос мужа был строг. Звонил враг.

— Вот по какому поводу решил побеспокоить вас. Случается ли вам читать «Новую газету»?

— Какую новую?

Смирновский хихикнул в трубку.

— Значит, не случается. Это такое название: «Новая газета». Так вот, во вчерашнем номере есть любопытная заметка, если позволите, я ее зачитаю, она короткая.

— Вы уверены, что это мне нужно знать?

— Есть такое предположение.

— Хорошо. Читайте.

— Заметка с таким вот заголовком: «Они не сдадутся! Будем бдительны!» Ну и соответственно: «Как стало известно из достоверных источников, некий партийный функционер весьма высокого ранга, недавно добровольно вышедший на пенсию, только что завершил подозрительный вояж по глубокой провинции, где имел секретные контакты с местными партийными бонзами. Особенно настораживает, что в этих контактах принимали участие командующие отдаленными военными округами. Теряющая почву под ногами партийная реакция, видимо, грезит созданием российской Вандеи. Будем же бдительны!»

— Вот такой текст, Павел Дмитриевич.

Любовь Петровна слышала в трубке участившееся дыхание мужа, и голос его явно срывался, когда спросил:

— Подпись есть?

— Подписи нет, Павел Дмитриевич. Это как бы от редакции.

— И нельзя установить?

— Установлен источник информации. Это некто Георгий Сидоров, театральный режиссер, а ныне активный участник...

— Бред! Впервые слышу...

— Охотно верю. Но установлено еще кое-что.

— ?..

— Георгий Сидоров — давний друг вашей супруги.

— Послушайте, черт возьми...

Голос мужа был похож на медвежий рык. Она даже не подозревала, что он так может...

— Уважаемый, Павел Дмитриевич...

— Я вам не позволю...

— ...вы уж, пожалуйста, сами разберитесь в ваших семейных проблемах, а у нас и без того хлопот полон рот. Желаю здравствовать!

Любовь Петровна опустила трубку на колени и повернулась к двери. Дверь могла бы и сорваться с петель, не будь они когда-то кем-то так и задуманы, чтоб дверь не срывалась.

— Люба! — крикнул он от порога и замер, пораженный видом ее лица, и позой, и трубкой на коленях. Это восклицание было ярчайшим свидетельством его наивности, потому что согласно интонации дальше следовало бы: «Послушай, какой вздор мне только что преподнесли!»

Но продолжения не было. Был хрип смертельно раненного:

— Люба?!

Что означало: «Неужели! Как ты могла?!»

Любовь Петровна смотрела прямо ему в глаза. Она знала, что сейчас может произойти. Она почти ждала...

Вот он закрыл глаза, попытался сделать шаг вперед, закачался, обхватил руками голову, застонал, отшатнулся, привалился к дверному косяку, застонал еще громче, перегнулся и, как положено смертельно раненному, пытающемуся уйти от смерти, пригибаясь в коленях, вышел, как вывалился, еще несколько шаркающих шагов со стоном, потом с криком,— пересек гостиную и пропал из поля зрения Любови Петровны. Через минуту она услышала грохот падающего тела. Она встала, бросила на пол телефонную трубку, пошла в кабинет мужа. Он лежал на полу, театрально раскинув руки. «Господи, какой он большой! Он был настоящим мужчиной!» Присела, положила руку ему на грудь. Он дышал. Судорожно, неровно. Нужно было затащить его на тахту. Раньше не поверила бы, что справится с такой задачей. В несколько приемов ей все же удалось закатить его. Потом еще переворачивала на спину. «Как я выдерживала такую тяжесть! — подумала, справляясь с одышкой,— Кажется, мог бы расплющить. Вот уж воистину тайна женского тела!»

Потом сидела рядом и смотрела на него. Для него было лучше — больше не приходить в сознание, а вот так тихо исчезнуть из мира без лишних мук и страданий. Это лучший вариант. Что хорошего в долгом умирании, когда сначала полная старческая дряхлость, потом слабоумие, потом паралич и пролежни. Для настоящего мужчины это пошло и оскорбительно. «Скоропостижно скончался...» В таком сообщении всегда есть что-то загадочное, это не то, что «...от долгой и продолжительной...». Скоропостижно — это почти по-английски, ушел, не простившись. Вот так — нет худа без добра. Одно только омрачающее обстоятельство: убит он, ее муж, сражен противником явно неравным, недостойным, который даже смысла своей победы понять не сможет. И вот это, последнее,— задача верной жены, ее задача, и она выполнит, она сделает то, что необходимо, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы никто не остался безнаказанным, чтобы финал был по-настоящему драматичен и ни у кого не вызвал пошлой или снисходительной ухмылки.

— Клянусь тебе, Павлуша, я сделаю это! — сказала она вслух и пошла в свою комнату. Через час придет с занятий дочь, обнаружит отца и вызовет «скорую», хотя ему сейчас что «скорая», что «медленная» — все едино.

Из нижнего ящичка туалетного стола Любовь Петровна извлекла изящную деревянную шкатулку. В ней хранился подарок того, могущественного и влюбленного в нее человека, который пал первой жертвой подступающего хаоса, он не удостоил своих противников вниманием и прострелил себе сердце. Но задолго до того к одному из ее именин преподнес эту замечательную, инкрустированную игрушку — дамский браунинг, посвятил в секреты пользования им и посоветовал не попадать в ситуации, когда бы могли пригодиться его уроки. Теперь пригодятся.

Любовь Петровна набрала номер. Жорж, очевидно, был не один, ответил торопливо и нервно. Она положила трубку и стала одеваться.

«Жорж должен знать — с нами нельзя так. С нами так нельзя! Мы не позволим и не спустим!»

Эта единственная мысль в разных вариантах сопровождала Любовь Петровну в пути к месту проживания Жоржа. Других мыслей не было и не должно быть, если смысл предстоящего поступка определен минимальным количеством слов.

Вечен, велик и громаден город, который она пересекает сейчас, даже не вглядываясь в него. Еще более велика и необъятна страна, центром которой является этот город, но она, хрупкая, слабая женщина, она в эти часы — главный нерв огромного мира, потому что вершит справедливость, без которой этому миру не жить и не выжить, но медленно погружаться в пучину подлости и злобы.

«Они должны понять, что так нельзя! А если не смогут понять, то должны бояться возмездия. Страх — это разум трусливых».

Когда Жорж открыл ей, его хватил столбняк. Любовь Петровна добрые полминуты наслаждалась его состоянием.

— Ты не звонила,— пролепетал он, оглядываясь,— у меня люди...

— Через десять минут будь, пожалуйста, один, я подожду в подъезде,— ответила она, улыбаясь приветливо и просто.

— Но я не могу, у меня...

— Десять минут. Ты понял? Я жду ровно десять минут и ни секундой больше. Будь умницей!

Повернулась и пошла к лифту. Вышла на втором этаже. Через четыре минуты лифт дернулся и поплыл вверх. Не менее двух минут люди топтались в лифте и у лифта, затем он пополз вниз, по гулу голосов не менее трех человек, женщин среди них не было. На десятой минуте Жорж снова открыл ей дверь. Был зол и не скрывал этого. Не предложил сесть, сел сам, нагло уставясь на нее дергающимися зрачками.

— Ну, давай, давай, начинай!

— Зачем ты сделал это, Жорж?

Произнесла просто, не вкладывая никаких побочных интонаций, и Жорж клюнул на простодушие ее голоса, обмяк лицом, расслабился:

— Понимаешь, ты, я — это все сейчас вторично. Речь идет о судьбе миллионов. Люди больше не хотят того, что с ними было. Твой муж и другие такие же, они по-своему правы, что сопротивляются, но мы еще более правы, пресекая их сопротивление. Я обязан был так поступить, иначе оказался бы соучастником тех, кто и мне жить не давал. По крупному счету идет игра, понимаешь это?

— Но ты предал меня, разве нет?

— А если бы тебе пришлось выбирать между мной и мужем, ты меня не зачеркнула бы?

— Ты подлец, Жорж.

— Может быть. Слегка. Твои отношения со мной тоже не образец добродетели, согласись!

Жорж наглел.

— Ты убил моего мужа. И меня.

— Пожалуйста, не драматизируй. Заметка без подписи. Имена не указаны...

— Твое авторство установлено.

— Даже так! Но ведь вот в чем дело, доказательства нужны. А их не будет. Слава Богу, не те времена! Одного

«установления» мало. Твой аппаратчик может подать в суд на газету...

— Он умирает.

— Сочувствую.

— Значит, ты уверен, что неуязвим?

Жорж торжествующе развел руками.

— А вот у меня есть против тебя аргумент. Он в этой сумочке.

— Очень интересно! Позволь взглянуть?

— Конечно.

От изумления лицо Жоржа перекосилось до неузнаваемости. Брови подтянулись к самой лысине, челюсть, наоборот, упала на кадык.

— Ты что, рехнулась!

Попытался встать, но она вскинула руку, и он снова плюхнулся на стул, беззвучно шевеля губами.

— Так будет справедливо, Жорж,— сказала она тихо и увидела, что он наконец-то бледнеет. Еще на лысине появились две крупные капельки пота.

— Психопатка...— прошептал Жорж, словно только что сделал ужасное открытие.

— Ты же видишь, я спокойна,— возразила Любовь Петровна.

Он кинулся к ней, она отшатнулась и машинально нажала на спуск. Жорж взвыл собакой, скособенился, зажимая рукой бедро. Сквозь пальцы проступило красное... оно сочилось...

— Я не хотела так! — крикнула Любовь Петровна.— Ты сам виноват! Я сейчас...

Она наставила на него браунинг, изо всех сил давя на спуск. Жорж с воем шарахнулся от нее. Она наконец вспомнила, что нужно отпустить курок, а потом снова нажать на него. Около рабочего стола Жорж споткнулся, упал, не переставая кричать теперь уже совсем неприличные слова, сорвался на визг, когда она подошла.

— Уйди, дура! Уйди!

Елозя по полу, он заполз под стол. Любовь Петровна рассердилась всерьез.

— Да будь же ты мужчиной, Жорж! Как тебе не стыдно!

— Дура! Психопатка! — орал Жорж из-под стола, выставляя вперед ногу в дурно пахнущем носке. Под столом было темно, как в шалаше. Любовь Петровна видела перед собой только дергающуюся ногу Жоржа и все больше раздражалась. Левой рукой откинула ногу и выстрелила наугад. Наступила абсолютная тишина. Попала она или Жорж хитрит, затаился? Она обошла стол, встала со стороны тумбы, чтоб он не смог схватить ее, положила браунинг на стол и стала осторожно оттаскивать стол в сторону. Он был тяжел, но не так, как муж, которого она час назад затаскивала на тахту.

Жорж сидел, прислонясь головой к радиатору отопления. Над левой бровью краснело пятнышко с подтеком. Глаза открыты. В глазах ужас.

«Это хорошо,— подумала Любовь Петровна,— это то, что надо. Пусть увидят и поймут, что с нами так нельзя».

Хотела бросить к ногам Жоржа браунинг, но стало жалко, подарок все же, положила в сумочку и пошла к двери.

У подъезда их дома стояли две машины «скорой». Вахтер у лифта засуетился перед ней, собираясь что-то сказать, она жестом остановила его.

— Мама! — закричала дочь, кидаясь ей на шею. Гостиная была полна людей в белых халатах. Любовь Петровна, ни на кого не глядя, прошла в кабинет мужа. Он лежал, кажется, в той же позе, в какой она его оставила. Грудь его тяжело вздымалась, жутковатый хрип шел из приоткрытого рта. Лицо покрылось бледной зеленью, губы посинели. Она присела на край.

— Я все сделала, Павлуша,— сказала она тихим, но твердым голосом.

— Мама, о чем ты говоришь! — простонала дочь.— Он же умирает!

— Да,— спокойно ответила Любовь Петровна.— Он умирает как мужчина. И ты это запомни, пожалуйста, если кто-нибудь спросит.

— Мама, мамочка, что ты, что с тобой?!

Любовь Петровна прижала пальцы к ее губам, обняла крепко и не отпускала...

## 13

...Возникли лица двух женщин. Он не хотел женщин. Он хотел другого. И оно появилось. Отчетливо и красочно: колчаковский отряд уходил в никуда берегом реки Рассохи. На рыжих конях два мальчика в военной форме замыкали движение.

«Значит, это было?..»

**ПЕРСОНАЖИ ЖЕСТОКИХ ИГР**

*Перед вами, читатель, недавно написанное новое произведение Леонида Ивановича Бородина. Всего несколько лет прошло с момента первой прозаической публикации писателя в нашей стране, а имя его уже знают и любят многие читатели. Его «Третья правда» по праву считается шедевром отечественной литературы. И трудно представить человека, независимо от возраста и образования, который, прочитав эту повесть, остался бы к ней равнодушен.*

*Имя Бородина достаточно широко известно за рубежом. И, к стыду нашему, там и узнали и оценили его раньше, и издали больше. Две крупные литературные премии (французскую и итальянскую) получил Леонид Иванович там, когда у нас его еще почти никто не знал. Лишь в этом году его наконец поощрили на родине, присудив две вновь учрежденные премии: литературную премию Московской мэрии (за книгу «Повесть странного времени», изд. «Современник», 1990 г.) и премию журнала «Роман-газета» (За повесть «Третья правда», опубликованную в «Роман-газете» в 1991 году, № 4).*

*Чем же так подкупает проза Леонида Бородина? Прежде всего жизненностью событий, которые в ней изображены, правдой характеров его персонажей. И той внутренней страстностью, которая невольно передается читателю. Конечно, большое значение имеет образный, самобытный язык писателя, его немногословность, превосходное чувство меры во всем, о чем он пишет. Создается впечатление, что перед нами не просто талантливый писатель, умеющий увлечь нас, заставить сопереживать своим героям, проникнуться его мироощущением, но художник, который знает что-то такое, что многим из нас неизвестно, что у него есть особое право говорить с нами именно так и именно об этом.*

*Некогда Томас Манн писал: «Вообще говоря, талант очень сложное трудное понятие, и дело здесь не столько в способностях человека, сколько в том, что представляет собой человек как личность. Вот почему можно сказать, что талант есть способность обрести свою судьбу».*

*Леонид Иванович Бородин обрел свою судьбу. Очень нелегкую: судьбу гражданина и судьбу художника. Обе эти грани неразделимы в его личности. Бородин — писатель, слово которого, как справедливо отметил в очерке о нем Й. Штокман, «воистину не расходится с его жизнью, поступками... человек, ценящий верность собственным идеям и принципам столь высоко, что за них можно пойти за колючую проволоку ГУЛАГа, в тюремные камеры...» («Наш современник», 1992, № 9). Дважды осуждался Бородин за свои убеждения — в шестидесятых и в восьмидесятых годах, проведя в неволе одиннадцать лет.*

*О чем бы ни писал Бородин, когда бы ни происходили события, о которых он рассказывает, слово писателя обращено прежде всего к нашему времени. Но никогда не был он столь актуален, столь остросовременен, как в новом своем произведении — повести «Божеполье».*

*Впервые в нашей литературе писатель такого уровня решился столь полно и столь откровенно осмыслить художнически настоящее время. Каждый персонаж наряду с сюжетной несет большую социальную нагрузку, представляя собой определенный пласт общества. Хотя персонажей в повести Бородина немного и сюжет достаточно локален, круг проблем и явлений современной жизни общества настолько широк, художнический анализ их настолько разносторонен и глубок, что мы вправе рассматривать «Божеполье» как роман.*

*Центральному персонажу произведения Павлу Дмитриевичу Клементьеву семьдесят четыре года. Легко догадаться, что возраст «героя» не случаен. Это тот самый период, который был отпущен Советской власти. И биография Павла Дмитриевича хрестоматийно знакома нам: деревенский комсомолец-вожак, боровшийся с кулаками и едва не убитый ими, становится крупным партийным функционером. И вот на закате своей блистательной, и, как ему казалось, высоконравственной карьеры он оказывается свидетелем катастрофического распада государства, которое еще недавно представлялось несокрушимым и могучим; полного краха идеалов, которым он посвятил свою жизнь. И все это усугубилось личной драмой Клементьева.*

*Хотя Клементьев антипатичен автору, Бородин не позволяет себе ни на йоту отступиться от своей художнической задачи. Он всесторонне и даже «утепленно» высвечивает образ центрального персонажа. Потому мы до последних строк воспринимаем Павла Дмитриевича как живого человека, остро переживающего крушение и государства и своей карьеры и особенно личную драму.*

*Бородин строит повествование так, что мы, как бы вместе с героем, постепенно осмысливаем происходящее, делая все новые и новые открытия. А Клементьев вовсе не сразу понял, что произошло с ним и с обществом. Поначалу даже отвергнутый (хотя оставил он работу добровольно), Павел Дмитриевич испытал вдруг «уже почти забытое ощущение здоровья, то есть нигде ничего не болело», и у него даже появилась надежда «на очередной этап жизни». Но оказалось, что это была лишь инерция. Давно и прочно укоренившаяся в нем привычка сознавать свою исключительность, так сказать, «непотопляемость».*

*Отрезвление пришло внезапно, ошеломляюще. Пришло в метро, всегда олицетворявшем для него движение жизни, перемещение народных масс. Масс, о которых в целом он думал «по-отечески заботливо и требовательно», но которые были чем-то единым, не были персонифицированы, как он сам — личность, избранная историей, со временем для исключительной роли государственного деятеля. Когда Клементьев взирал через стекло персональной машины на втекающие в метро и вытекающие обратно людские потоки, ему «приятно было сознавать, что он все берет на себя, что не посвящает толпы в свои хлопоты, что они могут спокойно верить, что он, проносящийся мимо, справится со всеми сложностями отведенных ему проблем, как и они, массы, справляются со своими трудностями и проблемами».*

*И вот впервые за многие десятилетия Павел Дмитриевич сам оказался внутри этого человеческого потока. На улице он еще чувствовал свою индивидуальность, свою, как ему казалось, значимость, но «стоило ему приблизиться к знакомому арочному входу, как случилось нечто ошеломляющее: его схватили и понесли вправо, прямо, вниз, его затолкнули в вагон и вытолкнули оттуда, и самое страшное — его никто не видел, он видел всех, а его не видели, об него спотыкались и запинались, как о вещь, ему казалось, что в этой человеческой каше он становится или стал ничем, никем, что он меньше всех, потому что все были как бы заодно не против него, а без него...» Лишь хорошо усвоенный им за долгие годы инстинкт выживания спас Павла Дмитриевича от рокового исхода, к которому он был близок.*

*Тревога, порой переходящая в ощущение ужаса, все больше охватывает Клементьева по мере того, как он наблюдает за происходящими в стране событиями. Все чаще в его сознании возникает одно слово: хаос! Он мучительно ищет ответ на вопрос: почему так случилось? И в такой короткий срок! Пытается всмотреться в собственную жизнь как одного из столпов прежнего общества. И приходит к выводу, что «вся его жизнь прошла правильно».*

*Правда, теперь он вдруг стал задавать себе вопросы, которые прежде у него не возникали. Например: почему он покинул деревню, в которой родился? И честно ответил: потому что возненавидел ее. Но тотчас возник новый вопрос: а если бы все возненавидели?.. Этот вопрос остался безответным. Может быть, потому, что возненавидел деревню и не был в ней уже более полувека, и память его о матери «холодна, как информация»? И на этот вопрос он не дал себе ответа.*

*Павлу Дмитриевичу, глядящему из-за штор окна своей квартиры на бурлящую перед ним площадь — привычную и понятную прежде, но теперь ставшую чуждой, кажется, что он как бы смотрит из-за кулис спектакль, разыгрываемый ополоумевшими зрителями, вообразившими себя актерами и не учитывающими, что зрительный зал для этого не приспособлен. Однако «если все исполнители, то нет зрителей, а следовательно, нет и действия как такового, то есть балаган...»*

*Наблюдая из-за воображаемых кулис «дилетантские гримасы и реплики сдуревшей толпы», Клементьев утешается тем, что его нравственной и душевной опорой остается семья: любящие и любимые им красавица жена и дочь. Он не подозревает, что для жены он всего лишь козырная карта в ее игре на выживание.*

*Некогда несостоявшаяся актриса, Любовь Петровна в этой роли преуспела. Если на сцене псевдопереживаниями нельзя было обмануть режиссеров и зрителей, то Павел Дмитриевич сразу поддался искусно имитированному ею чувству к нему, прочно уверовав, что в лице Любови Петровны обрел идеальную жену: «послушницу и кошечку». У Любови же Петровны «угрызений совести не было, ибо предстояла игра на всю жизнь, а когда на всю жизнь, то это уже жизнь, а не игра».*

*Увлекшись своим новым амплуа, Любовь Петровна стала играть и с другими людьми. И постепенно ей начало казаться, что все вообще «видимое и слышимое ею есть не что иное, как результаты игр, которыми забавляются люди, ей подобные, и потому жизни как таковой не существует, что не подлинны слова и поступки людей, что все люди — игроки на одном уровне и персонажи чужих игр — на другом». А потому и ее муж — тоже и сам игрок и персонаж чужих игр, в том числе ее собственной. Но вот случилось невероятное: вся страна, «словно самогоном, опилась свободой и буйствовала бессмысленно и нелепо». Ушел в отставку ее муж. И тут в ее жизненном сценарии как бы началось новое действие: любящая супруга поверженного властелина, поверженного, но не уничтоженного, утратившего власть, но не силу духа — любящая супруга в роли доброго ангела-хранителя. «Иногда ей даже казалось, что все, бывшее с ней раньше, менее значимо по отношению к наступившему периоду ее жизни, когда в исполнении своей единственной роли она подошла к моменту, требующему высшего напряжения в проявлении ее способностей».*

*Особенно изощренно ведет она многолетнюю игру с Жоржем, в которой отчетливо сознает себя и игроком и персонажем чужой игры, не менее изощренной игры Сидорова с ней. Любовники долго камуфлируют свои подлинные отношения друг к другу. И лишь в финале обнажается их взаимная отчужденность, перешедшая в откровенную враждебность. В финале же Любовь Петровна проявляет свое истинное отношение и к мужу, покинув его, сломленного известием об ее измене, обеспамятевшего после сердечного приступа, в пустой квартире.*

*Но это впереди. А пока Павел Дмитриевич решает поехать в места, где он родился, полагая, что встреча его с родной деревней и особенно с Божьим полем, вольет в него те живительные соки, укрепит в нем ту уверенность в правильности прожитой им жизни, которые помогут ему восстановить душевное и физическое равновесие, нарушенное «перестройкой», вновь ощутить себя счастливым мужем и отцом.*

*Наиболее сильный позыв к поездке он почувствовал после прихода к нему «высокого гостя» из прошлого. Этот визит явился квинтэссенцией всех тех сложных, противоречивых мыслей и ощущений, которые испытал в последнее время Клементьев. Эта сцена по философской, нравственной и социальной глубине решена в традициях русской классики. В том, как ведет себя и что говорит «высокий гость», невольно вспоминается легенда о Великом инквизиторе из «Братьев Карамазовых» Достоевского.*

*Подобно кардиналу-инквизитору, «высокий гость» ставит в заслугу себе и своим сподвижникам то, что они поборoли свободу людей и сделали так для того, чтобы люди стали «счастливыми». Однако для этого люди обязаны были подчиняться своим вождям и, не размышляя, следовать Вере, точнее, всему тому, что предпишут им власть имущие. «Великая мечта требовала колоссальных жертв,— торжественно заявил Павлу Дмитриевичу «высокий гость»,— и подвиг каждого состоял в том, чтобы быть готовым к собственной жертве. Усомнился — тони немедленно, не смущай других!»*

*Тут «высокий гость» превзошел даже Великого инквизитора. Тот, лишая людей свободы, якобы ради их же пользы, брал под опеку всех — и слабых и сильных. «Высокий гость» же обещал «счастливую» жизнь, правильнее сказать, просто жизнь, лишь тем, кто слепо пойдет за ним. Усомнившиеся, и уж тем паче — инакомыслящие, тотчас приносились в жертву, как это и имело место, начиная с самого 17-го года. Вспомним установки «вождей» революции: «Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить — их надо уничтожать» (Зиновьев). «Расстрелы — метод формирования людей коммунистической формации» (Бухарин). «Установить такой режим, при котором каждый рабочий чувствует себя солдатом труда, который не может собою свободно располагать. Если дан наряд перебросить его, он должен его выполнить: если не выполнит — он будет дезертиром, которого карают!» (Троцкий). «Чем большее число представителей буржуазии и духовенства удастся нам расстрелять, тем лучше. Надо проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать» (Ленин).*

*Если Великий инквизитор размышляет, находясь в полной силе, ощущая даже свое превосходство над самим Христом, от имени которого он провозгласил себя властелином человеческих судеб, то время «высокого гостя» прошло. Он и подается Бородиным как призрак, почти бесплотный, готовый вот-вот рассыпаться в прах. И Клементьев, испытав поначалу «симпатию к сидящему напротив человеку», с которым несколько десятилетий был единомышленником, в конце разговора резко меняет свое отношение к «высокому гостю». «Тоскливая безнадежность липкой слизью стекала с его (гостя.— В. М.) слов, хотелось отстраниться, уберечься, сделать что-нибудь, чтобы замолчал он, смердящий оборотень, полутруп, маньяк...» И они, теперь уже внутренне отчужденные, расстались: «высокий гость», уйдя от Клементьева, как бы возвратился в прошлое, а сам Павел Дмитриевич полон еще надежды, что обретет свое место и в будущем.*

*И надежда эта связана прежде всего с поездкой на родину, которая, как он предполагал, восстановит его душевное равновесие. Однако надежда эта не оправдалась. В пути, при встречах с областным и районным начальством, он еще сохранял иллюзии. Он даже не распознал (а он так кичился умением распознавать кадры!) в понравившемся ему молодом спутнике грубую подставку (уж так ему хотелось поверить в возрождение прошлого, в то, что идеалы, кото-*

*рыми он руководствовался, еще могут в ком-то найти отклик). Но потом пришло отрезвление — ошеломляющее, безжалостное. Сначала встреча с односельчанином Будко, сохранившим и спустя полвека неприязнь к Павлу Дмитриевичу. Затем — нарочитое неузнавание его Ульяной — бывшей возлюбленной, семью которой некогда раскулачил и выслал из родных мест Клементьев. И наконец, самое страшное — вид обезображенного Божьего поля.*

*С самого начала поездки Клементьев жаждал, торопился поскорее попасть на это место. Он, казалось, был готов ко всему, даже к тому, что не найдет саму деревню на старом месте, но чтобы прекратило свое существование на земле Божье поле, самое главное место на земле его прошлого,— такое даже в голову ему не могло прийти. Этот луг в памяти Павла Дмитриевича зафиксировался намертво как некое достоверное свидетельство правоты его жизни, провозглашенное однажды выстрелом из-за стога сена, и потому все, связанное с этим фактом, не имело права исчезнуть и обязано было существовать вечно.*

*И вот перед ним долгожданное место. «Рваная черная яма с черными блюдцами луж от ног его простиралась до самых холмов на той стороне. Божеполья не было. Так, наверное, будет выглядеть земля после атомной войны. Так может выглядеть ад. Пустота входила в душу, душа сжималась и безмолвно корчилась в судорогах. Сама по себе вызрела странная фраза: «Это моя могила».*

*В этой сцене — кульминация повести Бородина. Здесь символически выражены «правота» жизни Клементьева и суть его личности.*

*Всей своей жизнью Павел Дмитриевич был повернут на себя, на свое «я». Боязнь за себя, за свою жизнь, даже опасение, что что-то может ущемить его интересы заслоняли для него любые убеждения и идеалы. Его до сих пор пронизывает «сопячий страх» при мысли, что он мог быть порубан вместе с комиссаршей Вандой и ее штабом, что он единственный случайно уцелел из всего чоновского отрядика, уничтоженного казаками. Когда он «произносил речь-клятву о мести, глаза его горели и пылали. Люди думали — ненавистью, и загорались огнем. Но то страх перед смертью изнутри выталкивал его зрачки из орбит».*

*Животный ужас охватывает Клементьева при воспоминании и о выстреле в него на Божьем поле: пройди хоть одна дробинка, пущенная в него младшим братом Ульяны — «спол-локтя выше» — и он остался бы на всю жизнь увечным!*

*Потом «страх ушел или не ушел, но остался стыд за него. На всю жизнь. И когда кто-то по прошествии лет бахвалился лихостью и дерзостью молодости, никогда не присоединялся, но подозревал хвастунов в неискренности... Да и потом сколько было всего, о чем старался не вспоминать и радовался, что некому напоминать. Вместо страха смерти был страх за успех, за карьеру».*

*Даже при известии об измене жены уязвленный эгоизм в Павле Дмитриевиче оказался сильнее оскорбленного чувства.*

*Как всякий настоящий эгоист, Клементьев во всех своих бедах винит кого-то другого. «Ну, не глупость ли? — мысленно восклицает он при виде обезображенного Божьего поля.— Сколько этого торфа отсюда выкачали? Несколько тысяч тонн? И — кладбище! А поле могло кормить тысячу лет. Боже, какие бездари и тупицы!» И он не понимает, вернее, не в состоянии понять, что одним из этих «бездарей и тупиц», к тому же вдохновителем их, долгие годы был он сам.*

*Единственным, что еще способно как-то восстановить его душевное равновесие, оказывается ненависть. Это невольно роднит его с женой — Любовью Петровной. Вот каким предстал Павел Дмитриевич перед дочерью после того, как они вдвоем вновь осмотрели обезображенное Божеполье. «Наконец это очевидное смятение чувств прекратилось, лицо застыло, и сам он весь выпрямился, собрался,— это был прежний, хорошо знакомый ей человек воли, ума и достоинства, а в сосредоточенности лица проглядывалось еще что-то похожее на злость, на большую злость».*

*Каждый из персонажей повести, пытаясь осмыслить свою роль в происходящих и в происходивших ранее событиях, тем самым помогает оценить не столько собственную значимость, сколько описываемые явления. Дополняя друг друга, они более полно высвечивают основную тему повести.*

*Саморазвенчание «вождей» прошлого, каковыми на разных ступенях являются «высокий гость» и Клементьев, существенно дополняет Надежда Петровна, сохранившая, в отличие от своего бывшего мужа, фанатическую преданность идеалам, которым посвятила жизнь. Да и осмысление ею прошлого куда более разносторонне и весомо, чем у Павла Дмитриевича. Да и, пожалуй, более впечатляюще, чем откровения «высокого гостя».*

*«Вот нашелся целый народ, несчастный народ, который взял да и разыграл карту всеобщего счастья! — с пафосом восклицает старая большевичка.— Наша революция — самое честное действие в истории человечества, потому что не о себе только думали, а обо всех живущих на земле и о тех, кто будет жить.— И далее, с вызовом:— Может быть, нам нельзя было уступать в жесткости, а со временем количество переросло бы в качество, и чистота социалистической идеи окупилась бы?»*

*Но при всем фанатизме Надежда Петровна видит и оборотную сторону действий своих единомышленников, создавших себе привилегированные условия жизни. Этим она также выгодно отличается от своего бывшего мужа. «И я! И я ведь живу в этой богадельне для избранных, а ведь знаю, как живут в обыкновенных домах для престарелых.— И Надежда Петровна добавляет, хотя и тоже с пафосом, но теперь уже с примесью желчи:— Знаю, но живу. Потому что все мы подлы и только лжем без устали о гуманизме и любви».*

*Своеобразно дополняет портрет «комуняки» Клементьева Артем, приставленный к нему провожатым: «Сперва он изводил мужиков в Сибири, потом по всей России, потом прыгал по разным министерствам в роли погонялы, заполз в Кремль, окопался при «бровастом» под самым его боком».*

*Однако при всей неприглядности таких персонажей, как Клементьев, впечатление от этого образа невольно смягчается при сравнении его с Жоржем Сидоровым и другими «перестройщиками». «Жорж и власть — это рассмешило бы ее (Любовь Петровну.— В. М.) еще год назад, но теперь это было не смешно, а тревожно... Если такие, как Жорж,— размышляет она,— тянутся к власти, другими словами, если на место Павла Дмитриевича придет Жорж Сидоров, то отрезвление ныне беснующейся толпы ускорится во времени... Жоржи обанкротятся быстро...»*

*Если Клементьев из-за воображаемых кулис пассивно наблюдает «дилетантские гримасы и реплики сдуревшей толпы», ограничиваясь лишь их мысленным осуждением, то его жена вступает в своеобразный поединок с новоявленными хозяевами жизни, сосредоточив весь накал своего неприятия их на любовнике. Постепенно ее отношения с Жоржем, наполняясь все более взаимной враждебностью, перерастают в жестокую схватку, в которой одерживают верх ненависть и изощренность Любови Петровны. Но это вовсе не месть за мужа, за близких, это тот же оголенный эгоизм, которым руководствуются в жизни Клементьев, Сидоров и им подобные.*

*Оттого и столь жестоки игры, которые каждый из них когда-либо затевал, как равно и чужие игры, в которых они сами являлись персонажами. Самое большее, на что способны они,— это восприятие удовольствий: пока здоровы, пока благоденствуют, пока удачи сопутствуют им. Привыкшие рационально, расчетливо относиться ко всем перипетиям жизни, они даже самые естественные человеческие огорчения и беды воспринимают с той же меркой. Так, узнав об измене жены, Павел Дмитриевич чувствует себя смертельно раненным. Но в нем уязвлено не столько чувство мужа, сколько самолюбие обманутого высокопоставленного чиновника. Высказав однажды мнение о «легкомысленной» жене редактора областной газеты Горина, он как бы предрек оценку и самому себе: «Если человеку на должности изменяет жена, то непременным недостатком его как работника является неуменье разобраться в людях и, как следствие, предрасположенность к ошибкам с трудноопределимыми последствиями». Таким образом, поступок Любови Петровны как бы окончательно подтвердил вслед за обезображенным Божеполъем, полную несостоятельность его жизни и карьеры. И если после поездки он еще как-то оправился, то известие об измене жены убило его окончательно. Впрочем, теперь он уже никому не был нужен. Кроме разве его дочери.*

*Образ Наташи играет особую роль в повести. Казалось бы, изначально фальшивая семейная обстановка должна была породить столь же фальшивое дитя. Однако Наташа — мила, духовно возвышенна, благородна. Этим образом автор как бы говорит нам, что при всей внутренней фальши прошлого оно внешне могло выглядеть настолько благопристойно, что оказалось способно порождать что-то вполне нравственное и даже привлекательное. В то время как сегодняшняя крикливо-заносчивая среда, «вскрывающая», казалось бы, вчерашнюю фальшь, являет нам не что иное, как «скотство». Символически это «наглядно» продемонстрировано в последнем любовном свидании Любови Петровны и Жоржа.*

*Вообще повесть Бородина насыщена метафорами, делающими идеи и мысли, заложенные в ней, необычайно зримыми и доступными читателям с различной степенью подготовленности.*

*Вот, например, как образно представлена автором судьба Любови Петровны. «...вот она, изящная перламутровая раковинка, уставшая от прихотей морских течений, возжелавшая надежности и покоя, пристроилась, прилепилась к могучему океанскому лайнеру, и стали забавой шторма и пространства, только вот по прошествии лет, прохудившись, затонул на рейде ее вчерашний всесильный покровитель, затонул на мели и придавил ее ко дну морскому всей своей непомерной тяжестью. Теперь ей задыхаться и тихо умирать, никому не нужной и неинтересной. Если бы он получил брешь в бою, она закрыла бы ее собой, но он просто прохудился и затонул и остался торчать над водой бесполезными мачтами. А кругом зашустрили быстроходные и наглые, и вся жизнь вокруг обрела новый увлекательный ритм, в котором можно бы закрутиться, увлечься... Но придавлена, похоронена, обречена...»*

*Бородин чутко прислушивается к душевным перипетиям каждого своего персонажа, не отталкивая их, не негодуя, не презирая — даже если они и чужды, а то и враждебны ему. Разве что Жорж подан в гротескной манере. Но он уже не столько индивид, сколько обобщенный тип, кого принято называть «радикалом». Даже в сцене его убийства каждая деталь, относящаяся к Жоржу, отдает иронией, а то и сарказмом «...он, не переставая кричать... сорвался на визг... елозя по полу, заполз под стол... орал из-под стола, выставляя вперед ногу в дурно пахнущем носке...» Если предсмертный вопль Павла Дмитриевича может вызвать жалость к нему, то застреленный Жорж Сидоров омерзителен. Не случайно в той же манере, что и хозяин, представлены гости-единомышленники Жоржа. Автор даже не наделил их именами — это просто сборище «анонимов».*

*В прежних своих произведениях Бородин, как правило, оставлял какой-то задел оптимизма на будущее. Так, в «Третьей правде» ранение Селиванова ножом оказалось легким. И его предсмертный ужас вылился почти что в фарс. Он будет жить. Хотя эту радость мы ощущаем с большой долей горечи: Рябинин-то мертв! То лучшее, что, казалось бы, единственно и достойно жизни и что нес в своей душе и отстаивал Рябинин, погибло. Однако «выживание» Селиванова хотя бы немного утешает нас.*

*«Божеполье» же оставляет нас перед гигантской черной воронкой, символизирующей чудовищную разрушительную работу прошлого, а также беспросветность и бесперспективность нынешней жизни.*

*Лишь призрачный образ мальчика-колчаковца, возникающий в угасающем сознании умирающего Клементьева, дает нам слабый импульс надежды. На что?.. Может быть, на то, что у нас есть один путь — возвратиться к изначальным истокам того духовного состояния, когда еще можно было сохранить в себе заложенное природой естество, человечность, единение с родиной.*

*Виктор МЕНЬШИКОВ*

Леонид Иванович Бородин

**БОЖЕПОЛЬЕ**

Ответственная за производство *О.Лексикова*
Редактор *И. Вититнева*
Технический редактор *Н.Кошелева*
Корректор *О. Наренкова*

Главный художник *Ю.Коннов*
© Оформление художника *Б. Косульникова*
© Фото *Н. Кочнева*
*Учредитель: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ "РОМАН-ГАЗЕТЫ"*

Сдано в набор 12.04.93. Подписано в печать 24.06.93. Формат 84x108/16. Бумага газетная. Гарнитура типа "Таймс" Печать офсетная. Усл.печ.л 6,72. Уч.изд.л 12,65. Тираж 387 000 экз. Цена подписная. Заказ N 1100.
Адрес издательства "Роман-газета": 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.
Отпечатано с оригинал-макета в Чеховском полиграфическом комбинате (142300, г.Чехов Московской обл.)

# ЧИТАТЕЛЬ КРИТИКУЕТ, РАЗМЫШЛЯЕТ, СОВЕТУЕТ




Внимательно прочитал ваше обращение к подписчикам ("Роман-газета", N 4, 1993 г., третья страница обложки). Последнее время я никак не мог понять, почему редакция с завидным упорством занижает цену подписки. Теперь знаю. Во всем виноваты те, "кто обещал блага от введения рынка, от новых условий деятельности предприятий". Как говорят— приехали! Обидно только, что вы держите своих подписчиков за дурачков. Я ваш давний подписчик (почти два метра книжных полок занято номерами "Роман-газеты"). На второе полугодие 1993 года подписался в первый день подписной компании, т.е. еще до получения третьего и четвертого номеров (их принесли вместе).Члены нашей семьи относятся к самой социально незащищенной группе. Сейчас семья состоит из пяти человек, в том числе четверо— пенсионеры, из которых двое требуют постоянного ухода. Есть один работающий член семьи—моя старшая незамужняя дочь. Она—учительница. Семья состоит из представителей трех поколений. А все вместе мы свидетели жизни страны на протяжении всего двадцатого века. Естественно, мы не богачи: старые, сирые, больные и убогие, да еще учительница впридачу. Но уж если мы нашли деньги на подписку на "Роман-газету", то есть эти деньги и у других. Если, конечно, в семье нет алкоголиков, наркоманов и других обладателей вредных привычек. В нашем подъезде только мы выписываем ( и раньше выписывали) "Роман-газету", хотя наш доход на человека в месяц скромнее, чем у многих.

Я 12 лет проработал в планово-экономическом отделе, позднее работал в финансово-учетном отделе и других службах. И тогда и сейчас занимался и занимаюсь экономикой семьи. Веду ежедневный учет доходов и расходов: заполняю специальные формы для облстата (это единственный вид приработка возможный в моем положении). Поверьте, цифрами я владею. Для нашей семьи (так сложилось) расходы на подписку на газеты и журналы составляют ежегодно примерно 1,5 процентов от суммарного годового дохода.

Помните, ежедневные газеты стоили дешевле "Роман-газеты" в 2-3 и более раз. Теперь подписка на "Роман-газету" стоит дешевле подписки на обычные ежедневные газеты. Лично я готов был уплатить за подписку на "Роман-газету" не менее 2,5-3 тыс.руб. Спасибо, конечно, вам! Только никак не могу понять, как вы на эту сумму (я заплатил за подписку на второе полугодие за "Роман-газету"—1210 руб., для сравнения за "Московский комсомолец"—1260 руб., за "Народную газету"—1043 руб., за три номера "Литература в школе"—450 руб.) сможете выполнить план издательства. Скорее всего опять все кончится известными всхлипами: ...мы хотели... но они...транспорт... и бумажники цены подняли... а мы не ожидали... поэтому не учли... план выпуска к сожалению сорван...

Экономистов ваших я бы уволил, т.к. они не могут (или не хотят) приспособиться к новым условиям.

*Э.Малевич*, пенсионер.
Московская обл., пос. Правдинский, ул. Советская, 4.

Друзья!

Не дадим умереть нашему любимому журналу! Слишком велика будет потеря для миллионов читающих и радующихся чтению. А в наше смутное время нет большей радости как забыться с хорошей книгой.

Читаю журнал с 1940 года, как только начала читать, хотя многого не понимала, с небольшим перерывом на военное время. Все в журнале интересно, так пусть и дальше он радует нас всех своими публикациями. Спасибо вам за то, что есть "Роман-газета" , за смелость, дерзость и хороший литературный вкус.

*Н.Ф.Максимова*
Москва, ул. Неделина, 14.

# ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

“Роман-газета” на сегодня—единственный массовый народный журнал художественной прозы у нас в стране и в мире. Он поддерживает давние отечественные традиции народного, семейного чтения, оказывает колоссальное влияние на духовный уровень общества. Журнал читают во всех уголках нашей родины.

Несмотря на создавшиеся трудности с выпуском периодических изданий в условиях продолжающегося рыночного беспредела, мы прилагаем все возможные усилия, чтобы сохранить “Роман-газету”, являющуюся таким же национальным достоянием как Большой театр, Третьяковка, Государственная библиотека. Ибо мы понимаем, что если рухнет “Роман-газета”—рухнет читающая Россия.

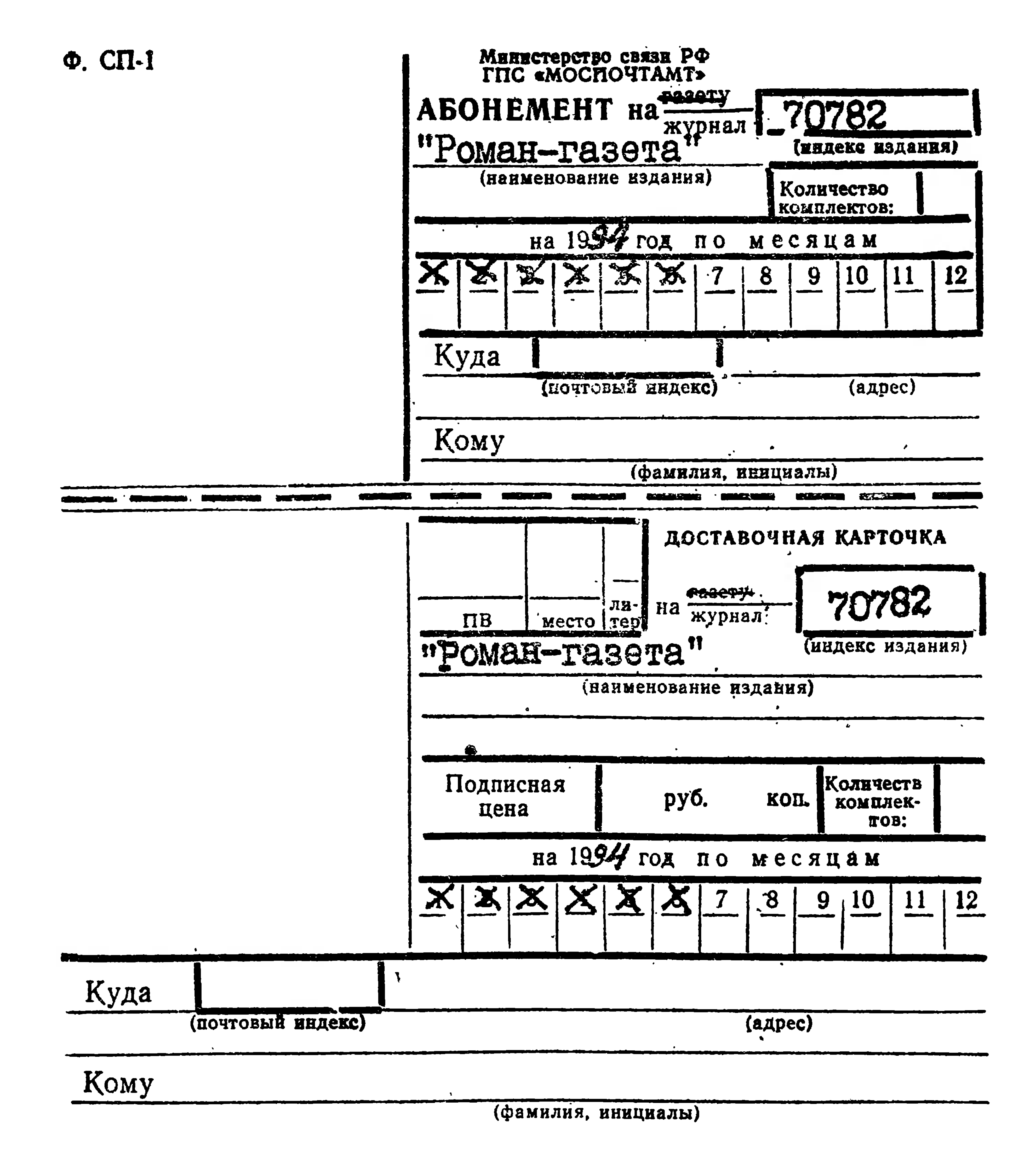
Чтобы выдержать стихию рынка, мы вынуждены поднять стоимость журнала, заложив в план непрерывно повышающиеся цены на бумагу, полиграфию, перевозки. Нам приходится идти на некоторые неудобства, сдваивая номера для того, чтобы максимально выполнить обещанную программу. Мы также изыскиваем дополнительные деньги. Например, издаем книги, прибыль от которых идет на выпуск “Роман-газеты”. Это в какой-то степени помогает сохранить средства, собранные по подписке, от обесценивания.

Однако главное условие сохранения “Роман-газеты”—это необходимый минимум подписки на журнал. В связи с этим мы обращаемся ко всем, кто нас читает:

Дорогие друзья!

Если ваш бюджет не позволяет оформить подписку на свою семью, объединитесь с соседями, с родственниками, с коллегами по работе. В последние годы так поступают многие.

*(Окончание смотрите на обороте.)*



Ф. СП-1

Министерство связи РФ
ГПС «МОСПОЧТАМТ»

АБОНЕМЕНТ на ~~газету~~ журнал 70782 (индекс издания)

"Роман-газета" (наименование издания)

Количество комплектов:

на 1994 год по месяцам

| ~~1~~ | ~~2~~ | ~~3~~ | ~~4~~ | ~~5~~ | ~~6~~ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

ПВ | место | литер

на ~~газету~~ журнал 70782 (индекс издания)

"Роман-газета" (наименование издания)

Подписная цена | руб. | коп. | Количество комплектов:

на 1994 год по месяцам

| ~~1~~ | ~~2~~ | ~~3~~ | ~~4~~ | ~~5~~ | ~~6~~ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

Куда (почтовый индекс) (адрес)

Кому (фамилия, инициалы)

Уважаемые руководители профсоюзных организаций!

Учитывая высокие просветительские, патриотические, мировоззренческие и эстетические задачи, которые художественно решает "Роман-газета", мы просим вас изыскать посильные средства и оказать помощь в подписке на наш журнал для коллективов отделов, цехов, лабораторий и других подразделений ваших предприятий. Мы советуем вам рекомендовать его для библиотек, клубов, общественных пунктов, для коллективов школ, техникумов, вузов, преподавателей, воспитателей, различных производственных, коммерческих структур.

Уважаемые директора заводов и фабрик!

Мы обращаемся к вам с просьбой поддержать подписку на "Роман-газету", служащую делу просвещения и повышения духовности широких масс. Оплатите за счет бюджета предприятия несколько подписок за первое полугодие 1994 года, что поможет сохранить народный журнал, который нужен сегодня миллионам читателей России.

Уважаемые господа предприниматели!

Мы обращаемся к вам от имени читающей России. Не дайте рухнуть "Роман-газете"—одному из столпов нашей кульуры. Мы знаем правомерность любого благотворительства, но благотворительность и забота, обращенные к книге, литературе, знанию, просвещению особо почитаются на Руси. Помогите в выпуске "Роман-газеты", подписав на журнал ваш коллектив, а также наиболее проявивших себя сотрудников.

Надеемся на ваш сердечный, душевный и патриотический отклик.

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА "РОМАН-ГАЗЕТЫ":
*Леонид ЛЕОНОВ, Олег ВОЛКОВ, Валентин РАСПУТИН, Михаил АЛЕКСЕЕВ, Юрий БОНДАРЕВ, Петр ПРОСКУРИН, Владимир КРУПИН, Сергей АЛЕКСЕЕВ, Феликс КУЗНЕЦОВ, Валерий ГАНИЧЕВ.*

**ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!**

**На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.**

**При оформлении подписки (переадресовки) без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск календарного штемпеля отделения связи. В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки (переадресовки).**

**Для оформления подписки на газету или журнал, а также для переадресования издания бланк абонемента с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями, изложенными в каталогах Союзпечати.**

**Заполнение месячных клеток при переадресовании издания, а также клетки "ПВ-МЕСТО" производится работниками предприятий связи и Союзпечати.**

# "РОМАН-ГАЗЕТА" — 94

## *ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ*

*ПЛАН СОЗДАН НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ МНОГИХ ТЫСЯЧ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В ИЗДАТЕЛЬСТВО "РОМАН-ГАЗЕТА".*

**Популярные произведения отечественной и зарубежной литературы, давно завоевавшие симпатии читателей, сочетаются в плане с новинками прозы.**

По установившейся в "Роман-газете" традиции ежегодно печатать одно из произведений замечательного современного прозаика **Валентина ПИКУЛЯ** в план первого полугодия включен **сборник исторических миниатюр** писателя.

Во второй книге романа **"Мой Сталинград"** (первая книга опубликована в "Роман-газете" N1, 1993г.) **Михаил АЛЕКСЕЕВ**, участник описываемых событий, рассказывает на основе своих личных впечатлений о завершающем этапе Сталинградской битвы.

Роман **Ф.Скотта ФИЦДЖЕРАЛЬДА "Ночь нежна"**—лучшая книга знаменитого американского писателя. Судьба героев драматична. Однако у читателя остается светлое ощущение от общения с миром красоты и любви, рождая печаль по утраченному романтическому прошлому.

"Роман-газета" представляет новый роман выдающегося современного писателя **Виктора АСТАФЬЕВА— "Прокляты и убиты"**. Познав на себе нелегкую долю фронтовика, автор показывает, как сложно, порой трагично, складывались в годы войны судьбы молодых людей, надевших солдатские шинели.

Мы завершаем публикацию приобретшего широчайшую известность среди читателей романа-исповеди **Владимира УСПЕНСКОГО "Тайный советник вождя"** (книги 5 и 6). Автор знакомит с ранее неизвестными фактами, дает новое объяснение историческим событиям 1945-1953 годов, внезапной смерти И.В.Сталина.

Исторический роман видного писателя Русского Зарубежья **Николая УЛЬЯНОВА "Атосса"** увлекательно и красочно рассказывает о гигантском по тем временам вторжении врага на территорию будущей России— в Скифию. (События происходят в VI веке до нашей эры).

В заключительной части романа выдающегося современного писателя **Василия БЕЛОВА "Год великого перелома"** драматический накал событий, начавшихся в первых двух частях ("Роман-газета" N9, 1991г.), достигает своего апогея.

Новый исторический роман **Владимира ЛИЧУТИНА "Раскол"** раскрывает перед читателем глубины национального раздора, которому способствовали явные и тайные недруги с Запада.

В книге **Вадима КОЖИНОВА"Тютчев"** на основе документальных материалов и свидетельств впервые раскрываются многие "тайны" личной жизни и деятельности великого поэта, мыслителя, гражданина и политика.

*Эти и другие произведения отечественных и зарубежных авторов представлены в плане "Роман-газеты" в первом полугодии 1994 года.*

**Подписка на первое полугодие производится с сентября 1993 г.**

Подписная цена за полугодие — 5400 рублей (ориентировочно)

**плюс стоимость расходов, которые устанавливают местные отделения "Роспечати".**

НАШ ИНДЕКС — 70782.

*ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ ЧИТАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ИМЕТЬ ДОМА ПОПУЛЯРНЕЙШИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ, БЫТЬ В КУРСЕ НОВИНОК ЛИТЕРАТУРЫ,*

ВЫПИСЫВАЙТЕ "РОМАН-ГАЗЕТУ"!

---


РОМАН-ГАЗЕТА
15